МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

К. А. КОРОВИН



МОЯ ЖИЗНЬ

DirectMEDIA

К. А. Коровин

Моя жизнь



Москва
Берлин
2019

УДК 801.31:75.048(47)
ББК 85.143(2)
К68

Коровин, К. А.

К68 Моя жизнь / К. А. Коровин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 118 с.

ISBN 978-5-4475-9934-8

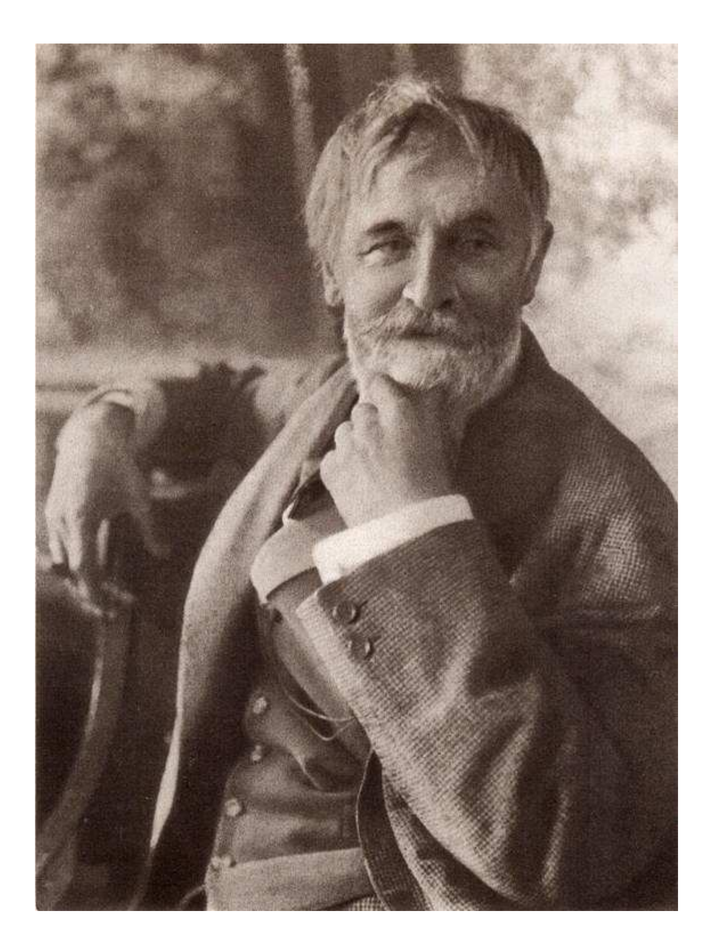
В издании представлены мемуары выдающегося русского живописца, театрального художника Константина Алексеевича Коровина (1861–1939 гг.). Помимо автобиографических воспоминаний автора о детских и юношеских годах в книгу вошли очерки К. А. Коровина о его незабываемых встречах с такими выдающимися деятелями отечественной культуры как С. И. Мамонтов, Ф. И. Шаляпин, М. А. Врубель, А. К. Саврасов и многими другими. Завершают книгу отрывочные записи и размышления автора о событиях 1917 г.

УДК 801.31:75.048(47)
ББК 85.143(2)

ISBN 978-5-4475-9934-8

Содержание

I. [В доме деда] 5
II. [Дома и у бабушки] 13
III. [На природе] 23
IV. [Школа, впечатления от московской и деревенской жизни] 30
V. [В провинции. Первые трудности и успехи в живописи] 36
VI. [Учитель Петр Афанасьевич. Увлечение живописью. Случай на охоте] 42
VII. [Поступление в училище живописи, ваяния и зодчества. Первые занятия] 50
VIII. [Профессор Е. С. Сорокин] 57
IX. [С. И. Мамонтов] 62
X. [С. И. Мамонтов. Работа в императорских театрах] 68
XI. [М. А. Врубель] 76
XII. А. К. Саврасов 83
Воспоминания 1917 г. 90



Константин Алексеевич Коровин. Фотография. Середина 1930-х

I. [В доме деда]

Я родился в Москве в 1861-м году, 23 ноября, на Рогожской улице, в доме деда моего Михаила Емельяновича Коровина, московского купца первой гильдии. Прадед мой, Емельян Васильевич, был родом из Владимирской губернии, Покровского уезда, села Данилова, которое стояло на Владимирском тракте. Тогда не было еще железных дорог, и эти крестьяне были ямщиками. Говорилось – «гоняли ямщину», и не были они крепостными.

Когда родился прадед мой, то по обычаю сел и деревень, находящихся по Владимирскому тракту, при рождении ребенка отец выходил на дорогу и у первого, которого гнали в ссылку по этой дороге, «Владимирке», спрашивал имя. Это имя и давали родившемуся ребенку. Будто это делали для счастья – такая была примета. Нарекали родившегося именем преступника, то есть несчастного. Так полагалось обычаем.

Когда родился мой прадед, по Владимирке везли в клетке с большим конвоем «Емельку Пугачева», и прадеда наименовали Емельяном. Сын ямщика, Емельян Васильевич был впоследствии управляющим в имении графа Бестужева-Рюмина, казненного Николаем I декабриста. Графиня Рюмина, лишенная прав дворянства, после казни мужа родила сына и умерла родами, а сын Михаил был усыновлен управляющим графа Рюмина, Емельяном Васильевичем. Но у него был и другой сын, тоже Михаил, который и был мой дед. Говорили, что огромное богатство моего деда пришло ему от графа Рюмина.

Дед мой, Михаил Емельянович, был огромного роста, очень красивый и ростом он был без малого сажень. И жил дед до 93-х лет.

Я помню прекрасный дом деда на Рогожской улице. Огромный особняк с большим двором; сзади дома был огромный сад, который выходил на другую улицу, в Дурнов-

ский переулок. И соседние небольшие деревянные дома стояли на просторных дворах, жильцами в домах были ямщики. А на дворах стояли конюшни и экипажи разных фасонов, дормезы, коляски, в которых возили пассажиров из Москвы по арендованным у правительства дедом дорогам, по которым он гонял ямщину из Москвы в Ярославль и в Нижний Новгород.

Помню большой колонный зал в стиле ампир, где наверху были балконы и круглые ниши, в которых помещались музыканты, играющие на званых обедах. Помню я эти обеды с сановниками, нарядных женщин в кринолинах, военных в орденах. Помню высокого деда, одетого в длинный сюртук, с медалями на шее. Он был уже седым стариком. Дед мой любил музыку, и, бывало, сидит один дед в большом зале, а наверху играет квартет, и дед позволял только мне сидеть около себя. И когда играла музыка, дед был задумчив и, слушая музыку, плакал, вытирая слезы большим платком, который вынимал из кармана халата. Я тихо сидел около деда и думал: «Дед плачет, так, значит, надо».

Отец мой, Алексей Михайлович, тоже был высокого роста, очень красивый, всегда хорошо одетый. И я помню, панталоны на нем были в клетку, и черный галстук высоко закрывал шею.

Я ездил с ним в экипаже, похожем на гитару: мой отец садился верхом на эту гитару, а я сидел впереди. Меня держал отец, когда ехали. Лошадь у нас была белая, звали Сметанкой, и я ее кормил с ладони сахаром.

Помню вечер летом, когда на дворе поблизости ямщики пели песни. Мне нравилось, когда пели ямщики, и я сидел с братом Сергеем[1] и своей матерью на крыльце, с няней Таней

---

[1] Сергей Алексеевич Коровин (1858–1908) – художник-жанрист, занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества в 1876–1886 годах у А. К. Саврасова и В. Г. Перова. Затем с 1888 по 1907 год (с перерывом в 1894–1898) преподавал в этом же Училище.

и слушал их песни, то унылые, то лихие, с посвистом. Они пели про любушку, про разбойников.

Девушки-девицы раз мне говорили,
Нет ли небылицы из старинной были…

Возле бора сосенок береза стоит,
А под той березою молодец лежит…

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он
Про отчий край, про край родной…

Не одна во поле дороженька
Пролегала широка…

Хорошо помню, когда наступал поздний вечер и небо охватывала мгла ночи, над садом показывалась большая красная комета, размером в половину луны. У нее был длинный хвост, пригнутый вниз, который лучился светящимися искрами. Она была красная и будто дышала. Комета была страшная. Говорили, что она к войне. Я любил смотреть на нее и каждый вечер ждал, ходил смотреть на двор с крыльца. И любил слушать, что говорят про эту комету. И мне хотелось узнать, что это такое и откуда пришла она пугать всех и зачем это.

В большие окна дома я видел, как иногда ехала, запряженная четверкой лошадей, по улице Рогожской страшная повозка, высокая, с деревянными колесами. Эшафот. И наверху сидели двое людей в серых арестантских халатах, со связанными назад руками. Это везли арестантов. На груди каждого висела большая привязанная за шею черная доска, на которой было написано белым: «Вор-убийца». Отец мой высылал с дворником или кучером передать несчастным баранки или калачи. Это, вероятно, так было принято из милосердия к страждущим. Конвойные солдаты клали эти дары в мешок.

В беседке сада летом пили чай. Приходили гости. У отца часто бывали его друзья: доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков и еще молодой человек Латышев, художник Лев Львович Каменев и художник Илларион Михайлович Прянишников, совсем юноша, которого я очень любил, так как он устраивал мне в зале, опрокидывая стол и покрывая его скатертями, корабль «Фрегат „Палладу"». И я залезал туда и ехал в воображении по морю, к мысу Доброй Надежды. Это мне очень нравилось.

Также я любил смотреть, когда у матери моей на столе лежали коробочки с разными красками. Такие хорошенькие коробочки и печатные краски, разноцветные. И она, разводя их на тарелке, кистью рисовала в альбом такие хорошенькие картинки – зиму, море, такие, что я улетал куда-то в райские края. Отец мой тоже рисовал карандашом. «Очень хорошо», – говорили все – и Каменев и Прянишников. Но мне больше нравилось, как рисовала мать.

Дед мой Михаил Емельянович хворал. Сидел у окна летом, и ноги его были покрыты меховым одеялом. Я и мой брат Сергей сидели тоже с ним. Он нас очень любил и меня расчесывал гребешком. Когда по улице Рогожской шел разносчик, то дед звал его рукой и разносчик приходил. Он покупал все: пряники, орехи, апельсины, яблоки, свежую рыбу. А у офеней, которые носили большие белые коробы с игрушками и выкладывали их перед нами, ставя на пол, дед также покупал все. Это было радостью для нас. Чего только не было у офени. И зайцы с барабаном, и кузнецы, медведи, лошади, коровы, которые мычали, и куклы, закрывающие глаза, мельник и мельница. Были игрушки и с музыкой. Мы их потом ломали с братом – так хотелось узнать, что внутри их.

Моя сестра Соня заболела коклюшем, и мать увезла меня к няне Тане. Вот где было хорошо… У нее было совсем по-другому. Небольшой деревянный дом. Я лежал больной в постели. Бревенчатые стены и потолок, иконы, лампадки. Та-

ня около меня и ее сестра. Замечательные, добрые… В окно виден сад зимой в инее. Топится лежанка. Все как-то просто, как надо. Приходит доктор Плосковицкий. Я был рад всегда его видеть. Он прописывает мне лекарства: пилюли в таких хорошеньких коробочках, с картинками. Такие картинки, что так никто не нарисует, думал я. Часто приезжала и мать. В шляпе и кринолине, нарядная. Привозила мне виноград, апельсины. Но запрещала мне давать есть много и сама привозила только суп-желе, зернистую икру. Доктор не велел меня кормить, так как у меня был сильный жар.

Но когда мать уезжала, то моя няня Таня говорила:

– Так касатика (это я – касатик) уморят.

И мне давали есть жареного поросенка, гуся, огурцы и еще из аптеки приносили длинную конфету, называлась «девья кожа», от кашля. И все это я ел. И «девью кожу» от кашля без счета. Только Таня мне не велела говорить матери, что меня поросенком кормят, и про «девью кожу» ни гу-гу чтоб. И я ни за что не говорил. Я верил Тане и боялся, как говорила ее сестра Маша, что, не евши, меня уморят совсем. Это мне не нравилось.

А на коробочках – картинки… Такие там горы, елки, беседки. Мне сказала Таня, что недалеко за Москвой такие растут. И я подумал: как только выздоровлю, уйду туда жить. Там мыс Доброй Надежды. Сколько раз я просил отца поехать. Нет, не везет. Уйду сам – погодите. И Таня говорит, что мыс Доброй Надежды недалеко, за Покровским монастырем.

Но вдруг приехала мать, прямо не в себе. Плачет навзрыд. Оказалось, что сестра Соня умерла.

– Это что же такое: как умерла, зачем?..

И я ревел. Я не понимал, как же это так. Что такое это: умерла. Такая хорошенькая, маленькая Соня умерла. Это не надо. И я задумался и загрустил. Но когда мне Таня сказала, что у нее теперь крылышки и она летает с ангелами, мне стало легче.

Когда настало лето, я как-то сговорился со своей двоюродной сестрой, Варей Вяземской, пойти на мыс Доброй Надежды, и мы вышли через калитку и пошли по улице. Идем, видим – большая белая стена, деревья, а за стеной внизу река. Потом опять улица. Магазин, в нем фрукты. Вошли и спросили конфеты. Нам дали, спросили, чьи мы. Мы сказали и пошли дальше. Какой-то рынок. Там утки, куры, поросята, рыба, лавочники. Вдруг какая-то женщина толстая смотрит на нас и говорит:

– Вы чего же это одни?..

Я ей насчет мыса Доброй Надежды, а она взяла нас за руки и сказала:

– Пойдемте.

И привела нас в какой-то грязный двор. Повела на крыльцо. В доме у нее так нехорошо, грязно. Она посадила нас за стол и поставила перед нами коробку большую картонную, где были нитки и бисер. Бисер очень понравился. Она привела других женщин, все смотрели на нас. Дала нам к чаю хлеба. В окнах уже было темно. Тогда она нас одела в теплые вязаные платки, меня и сестру Варю вывела на улицу, позвала извозчика, посадила нас и поехала с нами. Приехали мы к большому дому, грязному, страшному, башня-каланча, и наверху ходит человек – солдат. Очень страшно. Сестра ревела. Вошли по каменной лестнице в этот дом. Там какие-то страшные люди. Солдаты с ружьями, с саблями, кричат, ругаются. За столом сидит какой-то человек. Увидев нас, вышел из-за стола и сказал:

– Вот они.

Я испугался. И человек с саблей – чудной, будто баба, повел нас наружу, и женщина тоже пошла. Посадили на извозчиков и поехали.

– Ишь пострелы, ушли… неслухи, – слышал я, как говорил человек с саблей женщине.

Привезли нас домой. Отец и мать, много в доме народа, доктор Плосковицкий, Прянишников, много незнакомых. Тут и тетки мои, Занегины, Остаповы, – все нам рады.

– Куда делись, где были?..

Человек с саблей пил из стакана. Женщина, которая нас нашла, что-то много говорила. Когда человек с саблей уходил, то я просил отца оставить его и просил, чтобы он дал мне саблю, ну хотя бы вынуть, посмотреть. Эх, хотелось мне такую саблю иметь! Но он мне ее не дал и смеялся. Я слышал, что кругом много говорили в волнении, и все про нас.

– Ну что, видел, Костя, мыс Доброй Надежды? – спросил меня отец.

– Видел. Только это за рекой, там. Я туда не дошел еще, – сказал я. Помню, все смеялись.

Как-то зимой дед захватил меня с собой. Проехали мы мимо Кремля, через мост реки, и подъехали к большим воротам. Там стояли высокие здания. Мы слезли с саней, прошли во двор. Там были каменные амбары с большими железными дверьми. Дед взял меня за руку, и мы спустились по каменным ступеням в подвал. Вошли в железную дверь, и я увидел каменный зал со сводами. Висели лампы, и в стороне стояли в шубах татары в ермолках. В руках у них были саквояжи в узорах из ковровой материи. Еще какие-то люди, знакомые деда моего: Кокорев[2], Чижов[3], Мамонтов[4]. Они бы-

---

[2] Василий Александрович Кокорев (1817–1889) – крупнейший откупщик в России 50–70-х годов прошлого века; почетный член Академии художеств.

[3] Федор Васильевич Чижов (1811–1877) – профессор математики в 1832–1840 годах в Петербургском университете, затем видный железнодорожный и финансовый деятель; крупный благотворитель; один из столпов славянофильского лагеря.

[4] Иван Федорович Мамонтов (1800–1869) – откупщик, строитель Ярославской железной дороги, отец Саввы Ивановича Мамонтова.

ли в шапках и теплых хороших шубах с меховыми воротниками. Дед здоровался с ними. Они посмотрели и на меня и сказали: «Внук».

Посредине подвала стоял большой сундук, желтый, железный, окованный, в пуговицах. Сундук блестящий и узорный. Один из них вставил ключ в замок и открыл крышку. Когда подняли крышку, сундук издал звуки, как музыка. Из него Кокорев вынимал толстые пачки бумажных денег, перевязанные бечевкой, и бросал эти пачки в мешки подходящих татар. Когда наполнялся мешок одного татарина, подходил другой и также клали ему. А Мамонтов писал на стене мелом, говоря: «Миллион четыреста тыщ. Два миллиона сто сорок тыщ. Шестьсот тыщ. Миллион триста тыщ». Татары уходили с мешками наружу, а потом все заперли – и сундук и двери, и мы ушли. Дед сел в сани с Мамонтовым и посадил меня на колени. Мамонтов сказал дорогой деду, указав на меня:

– Парнишка Алексея. Любишь ты его, Михаил Емельянович…

Дед смеялся и сказал:

– Да как их не любить… А кто что потом будет – невесть. Жизнь идет, все меняет. Он ничего парнишка. Музыку любит… Слушает, не скучает. Ты спроси его, где мыс Доброй Надежды. Он из дому раз ушел искать его, мыс-то. Что было с матерью, с отцом. Вся полиция искала в Москве. Нашли. Мальчишка любознательный.

Это говорили про меня.

Приехали к большому белому дому. Вошли по лестнице в большой зал. Всё столы. За столами сидят люди, многие в белых рубашках. Подают кушанья. И мы сели за стол. Подали блины и в бурачках икру. Мне положили блин и икру из бурачка ложкой. А я смотрю – один в белой рубашке несет большой вал. Вставил его в такую странную штуку, вроде ко-

мода в стеклах, и повертел сбоку ручку. Эта штука заиграла. А за стеклами что-то вертелось. Очень интересно. И я пошел смотреть.

Потом дед, милый добрый дед, взял и умер. Мне сказала утром Таня. Я удивился и думал: зачем это? И увидел в зале большой гроб-колоду, там дед, бледный, глаза закрыты. Кругом свечи, чад, дым. И все поют. Много, много в золотых кафтанах. Так нехорошо, что это такое? Так нехорошо… Так жалко деда… И всю ночь не спали. А потом его вынесли на двор и все пели. Народу, народу… ужас сколько. И плакали все, и я… Деда повезли по улице. Я ехал с отцом и матерью за дедом. Увезли… Приехали в церковь, опять пели и потом опустили деда в яму, закопали. Это невозможно… И я не мог понять, что же это такое. Нет деда. Вот горько. Все я плакал, и отец плакал, и брат Сергей, и мать, и тетки, и няня Таня. Я спрашивал у приказчика Ечкина, увидав его в саду, зачем дед умер. А он говорит:

– Бог взял.

Думаю: вот так штука… Сестру Соню тоже взял. Зачем ему надо?.. И я очень задумался над этим. И когда пошел из сада, то с крыльца увидел на небе огромное светлое сияние – крест. Я закричал. Ко мне вышла мать. Я говорю:

– Смотри…

Крест таял.

– Видишь крест…

Мать увела меня домой. Это единственное видение, что помню в жизни своей. Такого больше никогда не было.

II. [Дома и у бабушки]

Мальчиком шести лет я не знал и не понимал, что значило, что мой отец был студент и кончил Московский университет. Это я потом узнал. Вероятно, мне рассказали. Но я помню, как к отцу моему приходили молодые люди и даже

не совсем молодые, а старше отца – все это были товарищи его – студенты. Они завтракали летом в беседке сада нашего и проводили там время весело. Там собирались и другие друзья отца, среди них были доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков, Латышев и Прянишников. Там, я слышал, пели, и некоторые отрывки из этих песен остались в моей памяти:

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты
Шатаются.

Студенты были особые люди. Одеты как-то особенно. С длинными волосами, некоторые в темных блузах, а кто в сюртуках, все с большими волосами, толстыми палками в руках, с шеями, перекрученными темными галстуками. Они не были похожи на других наших знакомых и моих родственников. И отец мой иначе одевался.

На стене беседки было написано мелом:

Двуголовье – эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.

Или пели они. Все какие-то особые песни, совсем другие, чем песни ямщиков.

Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин урод.

Но царю вселенной,
Богу высших сил,

Царь благословенный
Грамотку вручил.
Манифест читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая…

Или:

Когда-то в вечность переселился
Наш незабвенный Николай.
К Петру Апостолу явился,
Чтоб отпер двери ему в рай.

– Ты кто? – спросил его ключарь.
– Как кто? Не видишь, русский царь.
– Ах, русский царь?
Так подожди немножко.
Ты видишь, в рай тесна дорожка.
– А это что за сброд –
Цари или простой народ?
– А это подданные Ваши,
Которые по миру пошли
И нищими к нам в рай вошли.

И пишет с того света царь:
«Милый Саша, плоха на небе участь наша.
А если подданных ты любишь,
Богатством всех ты их погубишь.
И если хочешь в рай ввести –
То по миру их всех пусти».

Трудно преодолевались в моем понимании эти особенные настроения и мысли этих людей, студентов. Они мне казались особенными, какими-то другими. Их вид, долгие споры, походка и сама речь были иные и впечатляли меня странным беспокойством. Я видел, как управляющий моего отца, кото-

рый каждое утро приходил к отцу в кабинет, что-то долго докладывал, считал на счетах, приносил и уносил какие-то бумаги, – этот Ечкин сердито смотрел на знакомых отца, студентов. Студенты, сверстники отца, приносили отцу книги, вместе читали. Отец тоже имел много книг и много читал. Студенты спорили по вечерам, когда я уже уходил спать. Я слышал, что они часто говорили про крепостное право, слышал слова «конституция», «свобода», «тирания»…

Однажды к отцу пришел человек высокого роста, брюнет, с пробором посреди. Это был профессор университета, которому отец показывал небольшой портрет тоже какого-то брюнета. Профессор смотрел его. Портрет этот находился у деда моего, Михаила Емельяновича, в его спальне, и висел на стене перед постелью. Я спросил Ечкина, что это за портрет и кто этот дядя. Ечкин мне ответил, что это граф разжалованный.

– Он в родстве вашем будет. А что вот студенты – бог с ними… Только деньги с отца твоего тянут. Срамота, – сказал Ечкин.

Я никогда не видел с ними ни деда, ни Льва Каменева, ни моих теток, ни Волковых, ни Остаповых. И бабушка моя со стороны матери редко бывала у нас, и Алексеевы никогда не говорили и не были при этих студентах. Я видел, как отец вынимал из бумажника деньги и давал их людям с длинными волосами. У них были какие-то острые глаза, они смотрели сурово. Одеты они были плохо, грязно, сапоги высокие, нечищеные, волосы не стрижены.

– Это все студенты, – говорила мне, вздыхая, няня Таня.

У отца была большая библиотека, и он часто приносил книги. Я любил их смотреть, где были картинки. О прочитанной книге он много говорил со своими знакомыми и много спорил.

Однажды отец с волнением рассказывал матери про Латышева, который перестал бывать у нас. Он мне нравился. Он такой был тихий, мягкий человек. Но я слышал из разговора,

что его арестовали и сослали в Сибирь. Отец ездил в арестный дом, и однажды он взял меня с собой. И мы приехали к какому-то огромному зданию. Большие коридоры. И стояли солдаты, одетые в черное, и держали сабли кверху у плеча. Это было что-то страшное. Потом нас провели через узкий коридор, и я увидел длинную решетку, железные толстые прутья. И там за решеткой был Латышев. Отец передал ему сверток с едой – там был хлеб и ветчина – и говорил с ним через решетку. Потом мы пошли назад и вышли из этого страшного дома. Особенно мне было неприятно, что через решетку много людей кричали и разговаривали с людьми, которые были за ней. Это сильно повлияло на меня, и я спрашивал мать, няню Таню, бабушку, но никто мне ничего не отвечал. Отец мне ответил раз, что Латышев не виноват и это все зря.

– Ты не понимаешь, – сказал он мне.

Я видел, что мой отец был расстроен, и помню, что он сказал матери, что Ечкину нельзя доверять.

– Меня все обманывают. Я не хочу судиться, мне это противно. У них нет чести.

Мать была тоже расстроена. Ездила к своей матери, Екатерине Ивановне, и брала меня и брата с собой. У бабушки Екатерины Ивановны в доме было так хорошо. Комнаты в коврах, цветы у окон в корзинах, пузатые комоды из красного дерева, горки с фарфором, вазы золотые под стеклом с цветами. Так все красиво. Картины… Чашки внутри золотые. Вкусное варенье из китайских яблочек. Такой сад за зеленой загородкой. Там росли эти китайские яблочки. Дом снаружи зеленый со ставнями. Бабушка высокая, в кружевной накидке, в черном шелковом платье. Помню, как мои тети, Сушкины и Остаповы, красивые, в пышных кринолинах, и моя мать играли на больших золотых арфах. Было много гостей. Все другие какие-то непохожие на этих студентов и на доктора

Плосковицкого. Все нарядные гости. И за столом кушанья подавали слуги в перчатках, и шляпы у женщин были большие с нарядными лентами. И они отъезжали от подъезда в каретах.

На дворе в нашем доме, за колодцем у сада, жила собака в собачнике – такой маленький домик, а в нем круглая лазейка. Там-то и жила большая лохматая собака. И привязана она была на цепи. Вот это-то мне и нравилось. А собака такая хорошая, звали ее Дружок. За каждым обедом я оставлял ей кости и выпрашивал куски чего-нибудь, а потом уносил и кормил Дружка. И спускал его с цепи. Пускал его в сад и беседку. Дружок любил меня и при встрече клал лапы мне на плечи, отчего я чуть не падал. Языком лизал меня прямо в лицо. Дружок также любил и брата моего Сережу. На крыльце сидел всегда с нами Дружок и голову клал мне на колени. Но только как кто шел в калитку – Дружок срывался опрометью, в злобе бросался на входящего и лаял так, что пугал невозможно всех.

Зимой Дружку было холодно. Я тихонько, никому не говоря, проводил его через кухню к себе, в комнату наверх. И он спал около моей постели. Но мне это запретили, как я ни просил отца, мать – ничего не выходило. Говорили: нельзя. Я говорил это Дружку. Но я все-таки ухитрялся брать Дружка к себе в комнату и прятал его под постель.

Дружок был сильно лохматый и большой. И мы с братом Сережей как-то летом решили его обстричь. И обстригли так, что сделали из него льва: до половины остригли. Дружок вышел лев настоящий, и его стали еще больше бояться. Приходящий утром булочник, который носил хлеб, жаловался, что ходить нельзя, зачем спускают Дружка: ведь чисто лев бросается. Я помню отец смеялся – он тоже любил собак и всяких животных.

Как-то он купил медвежонка и отправил его в Борисово – совсем недалеко от Москвы, поблизости Царицына, за Моск-

вой-рекой. Там было небольшое имение моей бабушки, стоял дом-дача, где летом мы жили. Медвежонок Верка – почему так называлась? – скоро выросла с меня и была замечательно добрая. Играла со мной и братом в деревянный шар на лужку перед дачей. Кувыркалась, и мы с ней вместе. А ночью спала с нами и как-то особенно бурлыкала, каким-то особым звуком, который, казалось, доносился издалека. Она была очень ласковая, и кажется мне, что она думала про нас, что и мы медвежата. Целый день и вечером мы играли с нею около дачи. Играли в пряталки, катались кубарем с горки у леса. К осени Верка выросла выше меня, и как-то раз мы с братом и с ней ушли к Царицыну. А там она залезла на огромную сосну. Какие-то дачники, увидав медведя, заволновались. А Верка, сколько я ее ни звал, не шла с сосны. Пришли какие-то люди, начальники, с ружьем и хотели ее застрелить. Я разревелся, умолял не убивать Верку, в отчаянии звал ее, и она слезла с сосны. Я и брат увели ее домой к себе, а начальники тоже пришли к нам и запретили держать медведя.

Помню, это было мое горе. Обнял я Верку и горячо плакал. А Верка бурлыкала и лизала мне лицо. Странно, что Верка никогда не сердилась. Но когда ее заколачивали в ящик, чтоб увезти на телеге в Москву, Верка ревела страшным зверем, и глаза у ней были маленькие, звериные и злые. Верку привезли в Москву в дом и поместили в большую оранжерею сада. Но тут Дружок совсем сошел с ума: лаял и выл не переставая. «Как бы этого Дружка помирить с Веркой», – думал я. Но когда Дружка мы с братом взяли и повели в сад в оранжерею, где была Верка, то Верка, увидав Дружка, отчаянно напугалась, бросилась кверху на длинную кирпичную печку оранжереи, повалила горшки с цветами и прыгнула на окно. Она была вне себя. Дружок, увидав Верку, отчаянно завыл и завизжал, бросившись к нам в ноги. «Вот

так история, – подумал я. – Отчего же это они испугались друг друга?» И как мы ни старались с братом успокоить Верку и Дружка, ничего не выходило. Дружок бросался к двери, чтобы уйти от Верки. Видно было, что они друг другу не нравились. Верка была чуть не вдвое больше Дружка, но боялась собаки. И это продолжалось все время. Дружок был обеспокоен, что в саду в оранжерее живет медведь.

В один прекрасный день, утром, к отцу пришел полицейский надзиратель и сказал ему, что получил приказание арестовать медведя и отправить его на псарню по приказу губернатора. Это был для меня отчаянный день. Я пришел в оранжерею, обнимал, гладил Верку, целовал морду и горько плакал. Верка пристально смотрела звериными глазками. Что-то думала и была обеспокоена. А вечером пришли солдаты, обвязали ей ноги, морду и увезли.

Я ревел всю ночь и не пошел в сад. Мне было страшно смотреть на оранжерею, в которой не было уже Верки.

Когда я уехал с матерью к бабушке, то рассказал ей свое горе. Она, успокаивая меня, сказала: «Костя, люди злые, люди очень злые». И мне показалось правда, что, должно быть, люди злы. Они водят других людей по улице, с саблями наголо. Те идут такие несчастные. И это я тоже сказал бабушке. Но она мне сказала, что и эти несчастные люди, которых водят конвойные, тоже очень злые люди и нехорошие. Я задумался над этим и думал, что же это значит и зачем это. Зачем же они злые. Это первое, что я слышал о злых людях, как-то омрачило и озаботило меня. Неужели там, где вся эта музыка, неужели там есть такие люди. Не может быть, чтобы там, за этим садом, где опускается солнце и делается такой прекрасный вечер, где клубятся розовые облака, на прекрасном небе, там, где мыс Доброй Надежды, были злые люди. Ведь это же глупо и гадко. Так не может быть, там не может человек быть зол. Там нет этих людей, которые говорят «черт

возьми», «ступай к черту», те, которые это говорят, – всегда около моего отца. Нет, их нет там, да их туда и не пустят. Там нельзя говорить «черт тебя возьми». Там музыка и розовые облака.

У бабушки мне очень нравилось. Там было совсем другое, другое настроение. Сама бабушка и гости были приветливы, когда говорили, смотрели в глаза друг другу, говорили тихо, не было этих резких споров – у бабушки как-то соглашались. Так просто. А у нас в доме окружающие отца всегда как-то ни с чем не соглашались. Кричали: «не то», «ерунда», «яйца всмятку». Часто я слышал слово «черт»: «ну его к черту», «черт возьми совсем». У бабушки никто не чертыхался. Потом у бабушки эта музыка, когда играли на арфах, тихо слушали; гости были нарядные, большие кринолины, волосы у женщин пышные, пахло духами. Ходили они, не стуча высокими сапогами; уезжая, со мной все прощались. За обедом у бабушки не было квасу и не били рюмки с вином, не чавкали, не сидели, облокотясь на стол локтями. Потом было чисто как-то, прибрано. Не валялись книги, газеты. Музыка арф так красива, и мне казалось, что эта музыка похожа на синее небо, на облака вечерние, которые ходили над садом, на ветви деревьев, которые спускались к забору, где к вечеру розовела заря, и там за этим садом, там, далеко, где-то есть мыс Доброй Надежды. Я чувствовал у бабушки, что есть мыс Доброй Надежды. У нас не было этого чувства. Что-то было грубое, и мне казалось, что все кого-то бранили, что-то не так, кто-то виноват… Не было этого отрадного, далекого, прекрасного, которое там, которое придет, желанное, доброе. И когда я возвращался домой, мне было грустно. Придут студенты, будут кричать: «Какой бог, где он, бог?». И какой-то студент скажет: «Я не верю в бога…» И глаза у него мутные, злые, тупые. И он груб. И я будто чужой. Я ничто. Никто не подойдет, не скажет мне: «Здравствуй». А у бабушки мне

скажут, спросят: «Что ты учишь?» Покажут книжку с картинками. Когда рисовала мать, то я чувствовал себя около матери, как и у бабушки. И в картинках которые рисовала мать, мне все казалось, что она рисует все это там, где мыс Доброй Надежды. Когда я остаюсь ночевать у бабушки, то бабушка велит мне в постели на коленях читать молитвы и молиться богу, и после я уже ложусь спать. А дома мне ничего не говорят. Скажут: «Иди ложись спать» – и только.

Тетки мои, которые бывают у нас в доме деда в Рогожской, тоже другие – толстые, с черными глазами. А дочери их, молодые, худые, бледные, робкие, сказать боятся, конфузятся. «Какие разные люди, – думал я. – Отчего это?»

Пришла тетка Алексеева и сидела в зале на кресле и горько плакала, вытирая слезы кружевным платочком. Говорила в слезах, что Аннушка залила настурции – поливает и поливает. Я подумал: «Какая чудна́я тетка. О чем плачет».

Другая моя тетка, помню, сказала про мою мать: «Белоручка. Она не знает до сих пор, куда в самовар воду наливают и куда угли кладут». А я и спросил мать – куда угли кладут в самовар. Мать посмотрела на меня с удивлением и сказала: «Пойдем, Костя». Повела меня в коридор и показала в окно сад.

Зима. Сад был весь в инее мороза. Я смотрел: действительно это было так хорошо – все белое, пушистое. Что-то родное, свежее и чистое. Зима.

А потом мать рисовала эту зиму. Но не выходило. Там были узоры ветвей, покрытые снегом. Это очень трудно.

– Да, – согласилась мать со мной, – эти узоры трудно сделать.

Тогда я тоже начал рисовать, и ничего не выходило.

III. [На природе]

После смерти деда в доме на Рогожской улице все постепенно изменилось. Мало осталось ямщиков. Уже не было слышно вечером их песен, и конюшни опустели. Стояли покрытые пылью огромные дормезы; унылы и пусты были дворы ямщиков. Приказчика Ечкина не было видно в нашем доме. Отец мой был озабочен. Много приходило людей в дом. Помню, как отец платил им много денег, и какие-то белые бумажки длинные, векселя, он складывал вечером вместе, перевязывал бечевкой и клал их в сундук, запирая. Как-то уезжал он. В парадном ходе крыльца моя мать провожала его. Задумчиво смотрел отец на окно, покрытое инеем мороза. Отец в руках держал ключ и, задумавшись, прикладывал ключ к стеклу. Там образовалась форма ключа. Он переставил его в новое место и сказал матери:

– Я разорен… Дом этот продадут.

* * *

Уже прошла Николаевская железная дорога и окончена была до Троице-Сергия, а также построена была дорога и до Нижнего Новгорода. Так что ямщина была закончена. По этим дорогам уже редко кто ездил на лошадях: ямщина была не нужна… Значит, отец сказал: «Я разорен», потому что дело кончилось. Троицкую железную дорогу провели Мамонтов и Чижов, друзья моего деда. Вскоре я с матерью переехал к бабушке, Екатерине Ивановне Волковой. Мне очень нравилось у бабушки, а потом оттуда переехали мы на Долгоруковскую улицу, в особняк фабриканта Збука[5]. Кажется, хорошо не помню, отец мой был мировой судья. Большой

---

[5] Ксенофонт Абрамович Збук (1825–1904) – купец, владелец пуговичной фабрики.

двор был у дома Збука и большой сад с заборами, а дальше шли полянки. Еще не отстроена была хорошо Москва, Сущево. Вдали были видны фабричные трубы, и помню я, как на праздниках на эти полянки выходили рабочие, сначала молодые, потом постарше, друг перед другом кричали: «выходи», «отдай наше» и дрались друг с другом. Это называлось «стенка». До самого вечера слышался крик: то были игры-драки. Я много раз видел эти драки.

Мебель в особняк Збука была перевезена из нашего рогожского дома, который уже был продан. Но и эта жизнь в Москве была недолгой.

Летом с отцом, матерью я довольно часто ездил под Москву, в Петровский парк, на дачу к тетке Алексеевой. Это была толстая женщина с красным лицом и темными глазами. Дача была нарядная, выкрашенная желтой краской, загородка тоже. Дача была в резных финтифлюшках; перед террасой была куртина цветов, а посередке железный крашеный журавль: подняв нос кверху, пускал фонтан. И какие-то на столбах два ярких, ярких серебряных шара, в которых отражался сад. Дорожки, покрытые желтым песком, с бордюром, – все это было похоже на бисквитный пирог. Хорошо было на даче у тетки, нарядно, но мне почему-то не нравилось. Когда надо было сворачивать с Петровского шоссе в аллею парка, то шоссе казалось далекой синей далью, и мне хотелось ехать не на дачу к тетке, а туда, в эту дальнюю синюю даль. И я думал: там, должно быть, мыс Доброй Надежды…

А у тетки на даче все раскрашено, даже пожарная бочка тоже желтая. Мне хотелось совсем другое видеть: там где-то есть леса, таинственные долины… И там, в лесу, стоит избушка – я бы ушел туда и стал бы один жить в избушке этой. Туда бы взял с собой собаку Дружка, жил бы с ним; там маленькое окошко, дремучий лес – я поймал бы оленя, его бы доил, еще корову дикую… Только вот одно: наверно, она

бодается. Я бы ей отпилил рога, жили бы вместе. У отца есть удочка – я взял бы с собой, на крючок насадил бы мяса и бросил бы ночью из окна. Там ведь волки, пришел бы волк – цап мясо – попался. Я б его к окну-то и притащил и сказал бы: «Что, попался? Теперь не уйдешь… Нечего зубы скалить, сдавайся, живи со мной». Он ведь не дурак: понял бы – жили бы вместе. А что у тетки… ну мороженое, ну дача – ведь это ерунда, куда ни пойдешь – загородка, дорожки желтые, чушь. А мне бы в дремучий лес, в избушку… Вот что хотелось мне.

Возвращаясь от тетки, я говорил отцу:

– Как бы мне хотелось уйти в дремучий лес. Только ружье у меня, конечно, не настоящее, горохом стреляет, ерунда. Купи мне, пожалуйста, настоящее ружье, я буду охотничать.

Отец слушал меня, и вот однажды утром я вижу на столике около меня лежит настоящее ружье. Небольшая одностволка. Курок новый. Я схватил – как оно пахнет, какие замки, стволы какие-то в полосках. Я бросился отцу на шею благодарить, а он говорит:

– Костя, это – настоящее ружье. И вот коробочка пистонов. Только пороху не дам тебе – еще рано. Смотри-ка, ствол-то – дамасский.

Целый день я ходил по двору с ружьем. На дворе растет бузина у забора, забор старый, в щелях. А по ту сторону живет приятель – мальчик Левушка. Я ему показывал ружье, он ничего не понял. У него тачка, он возит песок, большое тяжелое колесо, словом, ерунда. Нет, ружье это совсем другое.

Я уже видел, как я застрелил, бегая с Дружком, и уток, и гусей, и павлина, и волка… Эх, как бы уехать в дремучий лес. А здесь – этот пыльный двор, погреба, желтые конюшни, купола церкви – что делать?

Я сплю с ружьем и двадцать раз в день его чищу. Отец поставил на стол свечу и зажег, посадил пистон, курок поднял, стрельнул в свечу на пять шагов – свеча потухла. Я расстрелял

три коробки пистонов, тушил свечку без промаха – все не то. Надо же порох и пулю.

– Погоди, – сказал отец, – скоро мы поедем в деревню Мытищи, там будем жить. Вот там я тебе дам пороху и дробь, ты будешь стрелять дичь.

Долго ждал я этого счастья. Прошло лето, зима, и вот в один прекрасный день, когда только распустились березки, отец поехал со мной по железной дороге. Какая красота. Что видно в окно – леса, поля – все в весне. И приехали в Большие Мытищи. С краю был дом – изба большая. Нам ее показала какая-то женщина и с ней мальчик Игнатка. До чего хорошо в избе: две деревянные комнаты, потом печка, двор, на дворе стоят две коровы и лошадь, маленькая собачка, замечательная – все время лает. А как вышел на крыльцо, видишь большой синий лес. Блестят на солнце луга. Лес – Лосиный остров, огромный. То есть так хорошо, как я никогда не видел. Вся Москва никуда не годится, такая красота…

Через неделю мы переехали туда. Отец где-то получил службу на фабрике недалеко. Но что это такое за Мытищи? Там есть речка – Яуза, и идет она из большого леса до Лосиного острова.

Я сейчас же подружился с мальчиками. Дружок ходил со мной. Сначала я побаивался ходить далеко, а за речкой был виден лес и синяя даль. Вот туда-то я и пойду… И пошел. Со мной Игнашка, Сенька и Сережка – замечательные люди, сразу приятели. Пошли на охоту. Отец мне показал, как заряжается ружье: очень мало пороху клал, я вешал какую-то газету, делал круг и стрелял, и дробь попадала в круг. То есть это не жизнь, а рай. Берег речки, трава, кусты ольхи. То она очень маленькая, мелкая, то переходит в широкие бочаги темные, невероятной глубины. На поверхности плещется рыба. Дальше и дальше идем мы с приятелями.

– Смотри, – говорит Игнашка, – вон, видишь, за кустами утки плавают. Это дикие.

Тихонько крадемся мы в кустах. Болото. И близко я подошел к уткам. Прицелился и выстрелил в тех, которые ближе. Взвились с криком утки, целая стая, а утка, в которую я стрелял, лежала на поверхности и била крыльями. Живо разделся Игнашка и бросился в воду, саженками поплыл к утке. Дружок лаял на берегу. Игнашка схватил зубами за крыло и возвратился с уткой. Вылез на берег – большая утка. Голова синяя с розовым, с отливом. Это было торжество. Я ходил от восторга на цыпочках. И пошли дальше. Место становилось более болотным, трудно было идти, качалась земля. Но в реке видно все дно, и я увидел у кустов, в глубине, шли большие рыбы и дышали ртом. Боже, какие рыбы. Вот их надо поймать. Но очень глубоко. Сбоку был огромный сосновый лес, в который мы пришли. Это – мыс Доброй Надежды. Мох зеленый. Игнашка и Серега собрали хворост и развели костер. Мокрые, мы грелись около костра. Утка лежала около. Что скажет отец! А за заворотом реки, через сосны, синела даль, и там большой был плес реки. Нет, не это мыс Доброй Надежды, а он там, где синяя даль. Поэтому я пойду непременно туда, там есть избушка там буду жить. Ну и что Москва, что дом наш рогожский с колоннами, что он стоит перед этими бочагами воды, перед этими цветами – лиловыми султанами, которые стоят у ольхи… И эти ольхи зеленые отражаются в воде, как в зеркале, и там синее небо, а наверху, вдали, синеют далекие леса.

Надо возвращаться домой. Отец сказал мне: «Ступай на охоту», а мать чуть не плакала, говоря: «Разве можно это, он еще мальчик». Это я-то. Я утку застрелил. Да я сейчас эту реку переплыву, когда хотите. Чего она боится. Говорит: «Зайдет в чащуру». Да я вылезу, я охотник, я утку застрелил.

И я шел домой гордо. А через плечо я нес перевешенную утку.

Когда пришел домой, было торжество. Отец сказал: «Молодец» – и поцеловал меня, а мать сказала: «Доведет этот вздор до того, что он заблудится и пропадет…»

– Ты разве не видишь, – говорила мать отцу, – что он ищет мыс Доброй Надежды. Эх, – сказала она, – где мыс этот… Ты разве не видишь, что Костя всегда будет искать этот мыс. Это же нельзя. Он не понимает жизнь, как есть, он все хочет идти туда, туда. Разве это можно. Смотри, он ничему не учится.

Каждый день я ходил с приятелями на охоту. Главным-то образом все, чтоб подальше, увидать новые места, все новые и новые. И вот как-то раз далеко мы ушли краем большого леса. Товарищи мои взяли с собой плетеную корзинку, залезали в реку, подставляли ее к прибрежным кустам в воде, хлопали ногой, как бы выгоняя рыбу из кустов, поднимали корзинку, и туда попадались маленькие рыбешки. Но раз всплеснулась большая рыба, и в корзинке лежали два темных больших налима. Это было удивленье. Мы взяли котелок, который был для чая, сделали костер и сварили налимов. Была уха. «Вот как жить-то надо», – подумал я. А Игнашка говорит мне:

– Посмотри-ка, вон видишь, с краю леса стоит маленькая избушка.

Действительно, когда мы подошли, была маленькая, пустая избушка с дверью и маленькое сбоку окно – со стеклом. Мы ходили у избушки и потом толкнули дверь. Дверь отворилась. Там никого не было. Земляной пол. Избушка низенькая, так что человек взрослый достанет до потолка головой. А нам – в самый раз. Ну что это за избушка, красота. Наверху солома, маленькая печка кирпичная. Сейчас же зажгли хворост. Замечательно. Тепло. Вот мыс Доброй Надежды. Сюда я перееду жить…

И до того мы топили печку, что в избушке было невыносимо жарко. Отворили дверь, время было осеннее. Уже смеркалось. Снаружи все посинело.

Были сумерки. Лес, стоящий около, был огромный. Тишина…

И вдруг сделалось страшно. Как-то одиноко, сиротливо. В избушке темно, и круглый месяц вышел сбоку над лесом. Думаю: «Моя мать уехала в Москву, не будет беспокоиться. Чуть свет уйдем отсюда». Очень уж хорошо здесь в избушке. Ну прямо замечательно. Как трещат кузнечики, кругом тишина, высокие травы и темный лес. Огромные сосны дремлют в синем небе, на котором уж показались звезды. Все замирает. Странный звук вдали у реки, как будто кто-то дует в бутылку: ву-у, ву-у…

Игнашка говорит:

– Это лесовик. Ничего, мы ему покажем.

А что-то жутко… Лес темнеет. Стволы сосен осветились таинственно луной. Печка погасла. Выйти за хворостом боимся. Дверь заперли. Ручку двери завязали поясами от рубашек к костылю, чтоб нельзя было дверь отворить в случае лесовик придет. Баба-Яга еще есть, это такая гадость.

Мы примолкли и смотрим в маленькое окошко. И вдруг мы видим каких-то огромных лошадей с белой грудью, огромными головами, идут, и резко остановились и смотрят. Эти огромные чудовища, с рогами, как ветви деревьев, были освещены луной. Они были так громадны, что мы все замерли в страхе. И молчали… Они ровно ходили на тоненьких ногах Зад их опущен был книзу. Их – восемь.

– Это лоси… – сказал шепотом Игнашка.

Мы, не отрываясь, смотрели на них. И в голову не пришло, чтоб стрельнуть в этих чудовищных зверей. Глаза у них были большие, и один лось близко подошел к окну. Белая грудь его светилась, как снег под луной. Вдруг они сразу бросились и пропали. Мы слышали треск их ног, как будто бы разгрызали орехи. Вот так штука…

Всю ночь не спали мы. И чуть забрезжил свет, утром мы пошли домой.

IV. [Школа, впечатления от московской и деревенской жизни]

Жизнь в деревне мне, мальчику, была наслаждением. Казалось, что нет и не может быть лучше моей жизни. Целый день я в лесу, в каких-то песчаных оврагах, где высокие травы и огромные ели упали в речке. Там я с товарищами выкопал себе в обрыве дом, за ветвями упавших елей. Какой дом! Желтые стены из песка, потолок мы укрепили палками, постелили ветви елей, сделали, как звери, логовище, печку, провели трубу, ловили рыбу, достали сковородку, жарили эту рыбу вместе с крыжовником, который воровали в саду. Собака была уже не одна, Дружок, а четыре целых. Собаки замечательные. Сторожили нас, и собакам казалось, как и нам, что это самая лучшая жизнь, какая только может быть, за что можно восхвалять и благодарить создателя. Что за жизнь! Купанье в реке; каких зверей видели мы, таких и нет. Пушкин сказал верно: «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…» Был барсук, но мы-то не знали, что барсук: какой-то особенный большой поросенок. Собаки гнали его, и мы бежали, хотелось поймать, приучить его, чтоб вместе жил. Но не поймали – убежал. Прямо ушел в землю, пропал. Чудесна жизнь…

Прошло лето. Наступили дожди, осень. Опали деревья. Но хорошо было в нашем доме, которого никто не знал. Топили печку – тепло. Но отец пришел как-то с учителем, человеком высокого роста, худым, с маленькой бородкой. Такой сухой и строгий. Он показал на меня: завтра идти в школу. Было страшно. Школа – ведь это особенное что-то. А что страшно – неизвестно, но страшно неизвестное.

В Мытищах, на шоссе у самой заставы, в большом каменном доме, на котором орел, написано «Волостное правле-

ние». В левой половине дома помещалась, в большой комнате, школа.

Парты черные. Ученики все в сборе. Молебен у икон. Пахнет ладаном. Священник читает молитву и кропит водой. Подходим к кресту. Садимся за парты. Учитель нам раздает перья, ручки, карандаши и тетради, и книгу – замечательную книгу: «Родное слово» с картинками. Мы, уже грамотные, помещаемся на одной стороне парт, а младшие – на другой.

Первый урок начинается с чтения. Приходит другой учитель, румяный, низенького роста, веселый и добрый, и велит петь за ним. Поем:

Ах, ты воля, моя воля,
Золотая ты моя.
Воля – сокол поднебесный,
Воля – светлая заря…
Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я.
Иль горячая молитва
Долетела до царя.

Замечательная песня. В первый раз я слышал. Тут никого не ругали.

Второй урок был – арифметика. Надо было выходить к доске и писать цифры, и сколько будет одно с другим. Ошибались.

И так началось учение каждый день. В школе ничего не было страшного, а просто замечательно. И так мне нравилась школа.

Учитель, Сергей Иванович, приходил к моему отцу пить чай, обедать. Был человек серьезный. И с отцом все говорили они хитрые вещи, и казалось мне, что отец ему говорил все не так – не так он говорил.

Помню, как-то раз захворал отец, лежал в постели. У него был жар и лихорадка. И он мне дал рубль и сказал:

– Сходи, Костя, на станцию и достань мне там лекарство, вот я написал записочку, покажи ее на станции.

Я пошел на станцию и показал записочку жандарму. Он мне сказал, выйдя на крыльцо:

– Вон видишь, мальчик, тот вон маленький домик, с краю у моста. В этом домике живет человек, у которого есть лекарство.

Я пришел в этот дом. Вошел. Грязно в доме. Какие-то стоят меры с овсом, гири, весы, кульки, мешки, сбруя. Потом комната: стол, всюду все навалено, заставлено. Шкафчик, стулья, и за столом, у свечи сальной, сидит старик в очках, и лежит большая книга. Я подошел к нему и дал записку.

– Вот, – говорю, – за лекарством пришел.

Он прочел записку и сказал: «Подожди». Пошел к шкафчику, открыл его, достал маленькие весы и из банки клал белый порошок на весы, а в другую чашку весов положил маленькие плоские медяшки. Отвесил, завернул в бумажку и сказал:

– Двадцать копеек.

Я дал рубль. Он подошел к постели, и тут я увидел, что у него на затылке была надета маленькая ермолка. Долго он что-то делал, доставал сдачу, а я смотрел на книгу – не русская книга. Какие-то большие черные знаки подряд. Чудна́я книга.

Когда он мне отдал сдачи и лекарство, я спросил его, показав пальцем:

– Что здесь написано, что это за книга?

Он мне ответил:

– Мальчик, это книга мудрости. А вот где ты держишь палец, тут написано: «Бойся больше всего злодея-дурака».

«Вот так штука», – подумал я. И дорогой думал: «Что же это за дурак такой?» И когда пришел к отцу, отдал ему лекарство, которое он развел в рюмке с водой, выпил и смор-

щился – видно, что лекарство горькое, – я рассказал, что я достал лекарство у такого странного старика, который читает книгу, не русскую, особенную, и сказал мне, что в ней написано: «Бойся больше всего разбойника-дурака».

– Кто же, скажи мне, – спросил я отца, – этот дурак и где он живет. В Мытищах есть?

– Костя, – сказал отец. – Он, такой дурак, живет везде… А правду тебе сказал этот старик, самое страшное – дурак.

Очень я задумался над этим. «Кто ж это такой, – все думал я. – Учитель умный, Игнашка умный, Сережка тоже». Так я и не мог узнать – кто этот дурак.

Вспомнив как-то в школе во время перемены, я подошел к учителю и спросил его, рассказав про старика, кто дурак.

– Много будешь знать – скоро состаришься, – сказал мне учитель. И только.

Помню, я учил урок. А учитель был в другой комнате у нас в гостях, с моим отцом. И они все спорили. Я помню – отец говорил:

– Это хорошо – любить народ, желать ему блага. Это похвально – желать сделать ему счастье и благополучие. Но это мало. Этого может желать и дурак…

Я тут насторожился.

– И дурак желает блага народу, – продолжал отец, – благими намерениями вымощен ад. Это ничего не стоит – желать. Надо уметь сделать. Вот это есть суть жизни. А у нас и горе от того, что все только желают, и от этого могут пропасть, как можно пропасть от дурака.

Еще страшней мне показалось. Кто же этот дурак. Разбойник, я знаю, он стоит у леса или у дороги, с дубиной и с топором. Пойдешь – он и убьет, как убили извозчика Петра. Я с товарищами – Сережкой и Игнашкой – ходил за село – смотреть. Он лежал под рогожей, зарезанный. Стра-а-ашно. Я всю ночь не спал… И стал бояться ходить вечером за село. В

лес, к речке – ничего, он не поймает, я убегу. Да у меня ружье, я его сам ахну. Но дурак страшней. Какой же он.

Я не мог себе представить и опять пристал к отцу, спрашивал:

– Он в красной шапке?

– Нет, Костя, – сказал отец, – они разные. Это те, которые хотят хорошего, но сделать этого хорошо не умеют. И все выходит скверно.

Я был в недоумении.

* * *

Как странно, я несколько раз ездил с отцом в Москву. Был у бабушки, Екатерины Ивановны, был в большом ресторане, и ничто – ни Москва, ни у бабушки, ни ресторан – мне не нравилось. Не нравилось так, как эта убогая квартира в деревне, как эта темная ночь зимой, где подряд спят темные избы, где глухая, снежная, скучная дорога, где светит круглый месяц и воет собака на улице. Какая сердечная тоска, какая прелесть в этой тоске, какое замирание, какая красота в этой скромной жизни, в черном хлебе, изредка в баранке, в кружке квасу. Какая печаль в избе, когда светит лампада, как мне нравится Игнашка, Сережка, Кирюшка. Какие друзья закадычные. Какая прелесть в них, какая дружба. Как ласкова собака, как мне нравится деревня. Какие добрые тети, чужие, ненарядные. Мне уже неприятна была роскошь моих нарядных теток – Остаповых, тетки Алексеевой, где эти кринолины, этот изысканный стол, где так чинно все сидят. Какая скука. Как мне нравится воля лугов, леса, бедные хижины. Нравится топить печь, рубить хворост и косить травы – я уже умел, и меня похвалил дядя Петр, сказав мне: «Молодец, тоже косишь». И я пил, усталый, квас из деревянного ковша.

В Москве я выйду – каменные мостовые, чужие люди. А здесь я выйду – трава или сугробы снега, далеко… И люди

родные, свои. Все добрые, никто меня не ругает. Все погладят по голове или посмеются… Как странно. Я никогда не поеду в город. Ни за что не буду студентом. Они все злые. Они всегда всех ругают. Тут никто не просит денег, да у меня и есть только семитка. И все время она у меня лежит. Да и у отца мало денег. А как было много. Я помню – сколько у деда было денег. Ящики были наполнены золотом. А теперь нет. До чего у Сереги хорошо. Там портной-солдат шубу шьет ему. Так вот рассказывал… Как он в лесу заблудился, как разбойники напали да как он их всех топил… Вот до чего хорошо слушать. А как он лешего в болото загнал, да хвост ему оторвал. Вот он его молил отпустить. А тот держит за хвост и говорит «нет» и говорит выкуп какой: «Вези, – говорит, – меня в Петербург к царю». Сел ему на шею, прямо к царю и приехал. Царь и говорит: «Молодец солдат!» И дал ему рупь серебряный. Он и рупь показывал… Большой рупь такой, старинный. Вот это люди. Не дураки.

Много в деревне интересного. Куда ни пойдешь, все рассказывают то, что не бывает. Что же рассказывать, что бывает, как в Москве. В Москве рассказывают все, что бывает. А тут – нет. Тут сейчас так, а через час – неизвестно, что будет. Это ведь, конечно, деревня глухая. А как бревенчатые дома хороши. Новая изба… эх, сосной пахнет. Не ушел бы никогда. Вот только сапоги у меня худые, надо починить подметки. Говорят мне, что сапоги каши просят, разворотились. Говорил отцу, что двадцать копеек просят за починку. Отец велел отдать: «Я, – говорит, – заплачу». А вот неделю не отдают. Хожу в валенках. Отец просфоры привез – до чего вкусны с чаем. Просфору нельзя собаке давать; мне сказала Маланья, что если дать просфору собаке, то сейчас же помрешь. А я хотел. Вот хорошо, что не дал.

V. [В провинции. Первые трудности и успехи в живописи]

В деревне мне казалось, что я только теперь вижу зиму, так как в городе какая же зима. Здесь все покрыто огромными сугробами. Спит Лосиный остров, побелевший в инее. Тихий, торжественный и жуткий. Тихо в лесу, ни звука, будто заколдовано. Замело дороги, и до самых окон дом наш занесло снегом, насилу выйдешь с крыльца. Валенки тонут в пышном снегу. Утром в школе топится печка, придут товарищи. Так весело, отрадно, что-то свое, родное в школе, необходимое и интересное, всегда новое. И открывается другой мир. А стоящий на шкафу глобус показывает какие-то другие земли, моря. Вот бы поехать… И думаю: хорошо, должно быть, ехать на корабле по морю. И какое море, синее, голубое, сквозь землю проходит.

Я не замечал, что была разница большая в средствах отца, и совсем не знал, что пришла бедность. Я не понимал ее. Мне так нравилось жить в деревне, что лучше я и представить не мог. И совсем забыл прежнюю, богатую жизнь: игрушки, нарядных людей, и они мне казались, когда я приехал в Москву, такими странными, говорят все, что не нужно. А только там – жизнь, в этом маленьком доме… Даже среди снега и жутких ночей, где воет ветер и метет метель, где озябший приходит дедушка Никанор и приносит муку и масло. До чего хорошо зимой топить печи, особенно приятно пахнет испеченный хлеб. Вечером придут Игнашка, Серега, мы смотрим кубари[6], которые гоняем по льду. А в праздник идем в церковь, взбираемся на колокольню и трезвоним. Это замечательно… У священника пьем чай и едим

[6] Игрушка наподобие волчка.

просфору. Зайдем в праздник в избу к соседям, а там повадные, собираются девушки и парни.

Девушки поют:

Ах, грибы-грибочки,
Темные лесочки,
Кто вас позабудет,
Кто про вас не вспомнит.

Или:

Иван да Марья в реке купались.
Где Иван купался – берег колыхался,
Где Марья купалась – трава распласталась…

Или:

Родила меня кручина,
Горе воскормило,
Беды вырастали.
И спозналась я, несчастная,
С тоской-печалью,
С ней век мне вековать.
Счастье в жизни не видать…

Были и веселые и грустные. Но все это было так полно в деревне всегда неожиданным впечатлением, какой-то простой, настоящей, доброй жизнью. Но однажды отец уехал по делу, а мать была в Москве. И остался я один. С вечера у меня сидел Игнашка, мы сделали чай и говорили о том, кто кем бы хотел быть, и оба мы думали, что ничего нет лучше, как быть нам в деревне такими же крестьянами, как все. Поздно ушел Игнашка, и я лег спать. На ночь я немножко трусил, без отца и матери. Запер дверь на крючок, а еще от ручки к костылю дверной рамы привязал кушаком. К ночи как-то жутко, а так как мы много слышали про разбойников, то боялись. И я по-

баивался разбойников… И вдруг ночью я проснулся. И слышу, как на дворе лает собачонка Дружок. И потом слышу, что в сенях за дверью что-то упало с шумом. Упала приставленная лестница, которая шла на чердак дома. Я вскочил и зажег свечу, и вижу в коридоре, как в дверь выглядывает рука, которая хочет снять кушак с костыля. Где топор? Искал я – топора нет. Бросаюсь к печке, у печки нет. Я хотел топором махнуть по руке – топора нет. Окно в кухне, рама вторая была вставлена на гвоздях, но не замазана. Я ухватил руками, выдернул гвозди, выставил раму, открыл окно и босиком, в одной рубашке, выскочил в окно и побежал напротив через дорогу. В крайней избе жил знакомый садовник, и сын его Костя был мой приятель. Я изо всех сил стучал в окно. Вышла мать Кости и спрашивает – что случилось. Когда я вбежал в избу, то, задыхаясь, озябнув, едва выговорил:

– Разбойники…

И ноги у меня были, как немые. Мать Кости схватила снег и терла мне ноги. Мороз был отчаянный. Проснулся садовник, и я рассказал им. Но садовник не пошел никого будить и боялся выйти из избы. Изба садовника была в стороне от деревни, на краю.

Меня посадили на печку греться и дали чаю. Я заснул, и к утру мне принесли одежду. Пришел Игнашка и сказал:

– Воры были. На чердаке белье висело – все стащили, а у тебя – самовар, – сказал он мне.

Как-то было страшно: приходили, значит, разбойники. Я с Игнашкой вернулся в дом, по лестнице залезли на чердак, с топорами. Там лежали мешки с овсом, и один мешок показался нам длинным и неуклюжим. И Игнашка, посмотрев на мешок, сказал мне тихо:

– Смотри-ка на мешок…

И мы, как звери, подкрались, ударили топорами по мешку, думали, что там разбойники. Но оттуда выпятились отру-

би… Так-то мы разбойника и не решили… Но я боялся уж к вечеру быть в доме и ушел к Игнашке. Мы и сидели с топорами, оба в страхе.

Когда приехали отец и мать, то узнали, что белье, которое висело на чердаке, все украдено и что работал не один человек. Страшное впечатление руки, просунутой в дверь, осталось воспоминанием на всю жизнь. Это было страшно…

* * *

К весне я и мать поехали к бабушке моей, Екатерине Ивановне, в Вышний Волочек; здесь жила бабушка моя неподалеку от дома сына своего Ивана Волкова, у которого был построен близ железной дороги на шоссе великолепный новый дом. У бабушки был другой дом – в тихой улице города деревянный дом, сад, заборы. А за ними были видны луга и голубая река Тверца. Было так вольно и хорошо. У бабушки было прелестно: комнаты большие, дом теплый, в окна были видны соседние деревянные домики, сады, и шла дорога, по краям которой были тропки, поросшие весенней зеленой травой.

Новая жизнь. Новый рай. Учителем ко мне был приглашен Петр Афанасьевич, широкоплечий, с рыжей шевелюрой и все лицо в веснушках. Человек еще молодой, но серьезный, строгий и часто говоривший: «Ну, а приори…»[7].

Чтобы не скучно было заниматься со мной серьезными науками, его угощали водочкой. Я уже проходил дроби, историю и грамматику. Очень все трудно учить. А я больше норовил попасть на реку, познакомился с замечательным человеком – охотником Дубининым, который жил на другой стороне города, к выезду на дорогу, которая шла на большое озеро, называемое Водохранилищем. Чудесный город Выш-

---

[7] A priori – из предшествующего (*лат.*).

ний Волочек, стоит вроде как на болоте. Старые каменные дома около каналов наполовину ушли в землю. Мне это так нравилось, и я начал рисовать эти дома. Бабушка мне купила акварельные краски, и я все рисовал в свободное время. Нарисовал Дубинину картину – охоту и ездил с Дубининым на лодке по большому озеру Водохранилищу. Какая красота! Далеко, на той стороне, на самом горизонте, лежат пески, а потом леса. Я пристроил удочки, купил лески, и попадали мне рыбы, которые я приносил домой. Тут я выучился ловить налимов, язей, щук. Это восхитительно. Так как мое желание было, конечно, сделаться моряком, то, получив программу штурманского училища, усиленно занялся с Петром Афанасьевичем. А Петр Афанасьевич сказал моей матери, что «рано ему еще, не одолеть, нужна алгебра, года два надо заниматься».

Я представлял себя в морской рубашке, вообще на кораблях. Мать не препятствовала моим желаниям. Но все смотрела и поощряла, когда я рисую. И я видел, что матери нравится, что я рисую. Она даже сама носила со мной краски и бумагу в папке и сидела около, иногда говоря:

– Там светлее, ты очень густо кладешь краски… – и иногда поправляла мне рисунок. И у нее тоже не выходило так, как в натуре, а все больше похоже на другое место. Очень хорошо, но такого места не было.

Летом я всегда уходил к Дубинину и ходил с ним на охоту. Купался в реке, промокал под дождем, и эта жизнь охотника сделала то, что я скоро вырос и уже на двенадцатом году был крепкий и выносливый. Иногда мы ходили с Дубининым по тридцати верст в день. В каких только местах мы не были, каких лесах, речках, реках, долинах. И, стреляя дичь, Дубинин иногда делился со мною, так как моя одностволочка не всегда меня выручала. Ружьишко у меня было плохое. Я не мог стрелять так далеко, как Дубинин. Больше всего я жалел со-

баку Дружка, которого я оставил в Мытищах. Я его видел во сне и послал Игнашке в письме рубль бумажный, который выпросил у бабушки. Игнашка ответил, что рубль получил, но Дружок сдох. Трудно мне было перенести горе. Новую собаку я завести не мог, потому что бабушка была очень чистоплотна и не позволяла держать собаку в доме.

Помню, сосед по квартире, молодой человек, только что женившийся, служащий на железной дороге, все играл на гитаре и пел:

Чувиль, мой чувиль,
Чувиль-навиль, мой чувиль,
Чувиль-навиль, виль-виль-виль,
Еще чудо-перечудо,
Чудо – родина моя…

Я и сказал ему один раз, сидя с ним внизу, на лавочке у дома, что поет он ерунду. Он на меня ужасно обиделся и нажаловался бабушке. Супруга его была очень красивая и милая молодая женщина. И просила меня, чтобы я ее нарисовал. Трудно было мне ее нарисовать, как-то не выходило. Пейзаж казался мне легче, а вот лицо трудно.

– Непохоже, – говорил муж, – вы никогда не будете художником.

Я очень старался сделать похоже, и наконец она сделалась похожа.

Приехал мой брат Сергей, который уже поступил в московское Училище живописи, ваяния и зодчества[8]. И писал с натуры этюды. Мне казалось, что очень хорошо он пишет, но

---

[8] Московское Училище живописи, ваяния и зодчества – первоклассное художественное учебное заведение, сыгравшее большую роль в развитии отечественного изобразительного искусства. Возникновение его относится к 1832 году.

я не был согласен с цветом. В природе ярче и свежей, что я и говорил ему. Осенью он взял мои наброски и портрет этой женщины. Показав работы мои в Училище, написал письмо матери, что Костю примут без экзамена, потому что очень понравились работы профессорам Саврасову и Перову, и советует мне серьезно заняться живописью, причем прислал из Москвы замечательные вещи: краски в коробках, кисти, палитру, ящичек старый – все это было замечательно и упоительно. Какие краски, так приятно пахли, что я был взволнован и не спал всю ночь. А на утро взял холст в ящик, краски, кисти и ушел к Дубинину, сказав, что не приду три дня, – звал Дубинина по ту сторону озера, где камыши и пески, где старый челн на песке, где ночью кричит кукуля. Что это такое, кукуля, – я не знал, но кричала – я слышал. И вот там, только там, можно написать картину.

Два дня я жил на этом берегу. Написал черный челн, белый песок, отражения – все до того трудно. Туда меня звала мечта, поэзия.

VI. [Учитель Петр Афанасьевич. Увлечение живописью. Случай на охоте]

Окружение, природа, созерцание ее было самым существенным в моем детстве. Природа захватывала всего меня, давала настроение, как если бы ее изменения были слиты с моей душой. Гроза, мрачная непогода, сумрак, бурные ночи – все впечатляло меня… Это было для моей жизни и чувств самое главное. Охотник Дубинин, должно быть, и был мне дорог потому, что он приучил меня к себе, к этим хождениям по болотам, к лесам, к лодке на озере, к ночлегам в стогах, по глухим деревням… И люди другие – мой дядя, его окружение, бабушка и учитель Петр Афанасьевич – все это было както не то. Их разговоры, их заботы мне казались несерьезны-

ми. Ненужными. Мне моя жизнь, жизнь мальчика, охотника, и уже мои краски и рисование казались самым важным и самым серьезным в жизни. Остальное все как-то ерунда. Не то. Дешево и неинтересно. Одно еще, что хотелось, очень хотелось – сделаться моряком. Одного я видел в церкви Он был одет матросом, такой со светлыми пуговицами. Вот мне хотелось чего. Потому-то я и начал учить алгебру. Очень трудная алгебра. Я учил, конечно, больше для того, чтобы отделаться, не потому, чтобы мне это нравилось. Нравилось совсем другое, нравилось читать. Я уже так много прочел…

Петр Афанасьевич тоже познакомился с охотником Дубининым, потому что я рассказал ему, что это замечательный человек и знает такие секреты в медицине, что когда у меня сделался жар, то он принес мне к бабушке какую-то траву, горчайшую, и сварил ее в печке, как чай, в медном чайнике. Горькое питье. Три стакана заставил выпить. Но через час кончился жар, и болезнь прошла. К утру я был здоров. Он знал какие-то травы и, достав мне из воды на реке какие-то длинные камышины, концы которых он ел, предложил и мне. Это были вкуснейшие концы странной спаржи, и я и потом их ел все время, когда был на таких заросших речках, и предлагал другим. В деревне Охотино, где я жил перед войной, я показал эти камышины приятелям-охотникам. Они смеялись, но ели. А потом я заметил: на челноке ездили деревенские девки, рвали эти камыши, набирали их в кучи и ели, как гостинцы. Но как называются эти камышины, я не знаю.

У Петра Афанасьевича лицо было всегда в веснушках; он был довольно полный из себя. Карие глаза всегда смотрели как-то в сторону, и в этом его взгляде, когда я смотрел на него, видел, что он жестокий. Большой рот его был всегда крепко сжат. Я узнал, что он не верит в иконы. Он говорил мне, что бога никакого нет, что в Техническом училище, где он

окончил курс в иконе во рту угодника божьего просверлили дырку, вставили папиросу и зажгли.

– Так и не узнали, кто это сделал, – сказал он мне, улыбнувшись.

Мне почему-то не понравилось это. Он всегда был серьезен, никогда не смеялся. Я видел, что он завидовал достатку и ненавидел богатых людей.

Когда с ним познакомился мой дядя, Иван Иванович Волков, у которого было большое дело на железных дорогах, дело обмундирования служащих и еще какие-то поставки, то он взял его к себе на службу по моей просьбе. Но потом мне дядя сказал:

– Твой Петр Афанасьич не очень… – и не позволил мне больше заниматься с ним.

Я пришел к Петру Афансьевичу и увидал, что он совсем по-другому жил. Квартира у него была хорошая и на столе был серебряный самовар, новые ковры, хорошая мебель, письменный стол. И Петр Афанасьевич сделался какой-то другой.

Встретил я Петра Афанасьевича раз вечером у охотника Дубинина. Дубинин лечил его от веснушек и особенным образом. Он должен был утром до восхода солнца выходить на реку, становиться в воду по колени и умываться, стоя против течения. Каждый день. Я через некоторое время заметил, что у Петра Афанасьевича рожа стала красная, а веснушек нет. «Вот какой Дубинин», – подумал я. Рассказал своей тетке.

– Ну, – сказала тетка, – ты мне не говори про Петра Афанасьевича. Он – дрянь.

А почему дрянь – я так и не узнал, Петр Афанасьевич видел меня у Дубинина и говорил мне:

– Ты много смеешься, ты не серьезный. Надо влиять на всех. Ты будь серьезный и не смейся, тогда ты будешь влиять.

Дубинин тоже на охоте как-то сказал мне:

– Петр Афанасьевич из себя умного делает больно – «кто я». Он ведь против царя, у него все дураки. А он сам дурак. Сквалыга. Лечил его, а он хошь бы што. Пиджачишко у него попросил, дак не дал. У него все виноваты, а он у всех бы себе все взял… Знаем мы этаких-то. Они только говорят – за народ, что народ страдает, а он сам вот у этого народа последние портки свистнет. Девчонку-то брюхатую – бросил. А от сраму уехал из Волочка.

* * *

У меня появилось новое увлечение. На больших картонах красками, которые я купил в порошках в москательной лавке в Вышнем Волочке, с гуммиарабиком и водой, писать картины мест, которые я встречал в бесконечных хождениях с Дубининым по лесам, трущобам, рекам, кругом озера. Костры, стога, сарай – писать от себя, не с натуры. Ночи, тоскливые берега… И странно, почему-то нравилось все изображать тоскливо, печально, унылое настроение. И потом вдруг мне показалось, что это не то. Трудно мне было брать эти банки с кистями, красками и нести с собой картину. Далеко в те красивые места, которые мне нравились, чтобы писать с натуры. Писать с натуры – это совсем другое. И трудно было писать быстро сменяемый мотив нависших туч перед грозой. Это так быстро менялось, что я не мог схватить даже цвета проходящего момента. Не выходило – и потому я стал писать просто солнце, серый день. Но это невероятно трудно. Немыслимо постигнуть всю мелкость рисунка природы. Например, мелкого леса. Как сделать этот весь бисер ветвей с листьями, эту траву в цветах…

Мучился ужасно. Я заметил, что в картине, которую видел, пишутся не близкие предметы природы, а как-то на расстоянии, и я тоже старался делать в общем. Это выходило легче.

Когда приехал мой брат Сережа, который был уже в Москве в Училище живописи, ваяния и зодчества, то долго смотрел мои работы. И сказал мне:

– Молодец. Я вижу, у тебя хорошие краски, но ты не умеешь рисовать.

Странно – что писал он с натуры, мне не нравилось.

– Чтобы выучиться рисовать, – говорил мне брат, – нужно рисовать людей, рисовать можно и краской (так как я думал, что рисовать только карандашом можно).

Тогда я стал рисовать друга своего Дубинина и мучил его ужасно. Да еще рядом хотелось написать его собаку Дианку. Это просто невозможно до чего трудно. Мне казалось, что это совершенно нельзя написать. Дианка вертится, Дубинин тоже ворочает голову во все стороны, и я должен был постоянно переделывать. Так я и не мог дописать с него картину и подарить ее Дубинину. Дубинин говорил:

– Картина хороша, только усов у меня эдаких нет. Чего же усы-то сделал рыжие, а у меня усы-то черные. Ты черной краской делай.

Я для удовольствия сделал ему черные усы – все испортил. Усы прямо лезут одни, хоть ты что. А Дубинину нравилось и он сказал:

– Вот теперь правильно…

И очень был доволен, и все его приятели говорили:

– Похож. Усы вот как есть его.

«Ерунда, – думал я. – Усы просто безобразные».

Было горе у меня: собаку я нашел себе, а держать дома нельзя. Бабушка не позволяла. Собаку – ни под каким видом. А Дубинин тоже мою собаку не держал:

– Что же, – говорил, – завел кобеля, Дианку испортит, пойдут щенки не охотничьи.

– Как же не охотничьи щенки. Мой же Польтрон – сеттер.

А Дубинин смеется:

– Какой, – говорит, – сеттер. Был раньше.

Держал собаку на стороне, у одной вдовы, которая любила собак. Носил ему еду, каждый раз думал, когда ел, что отнесу Польтрону. Такой чудный Польтрон. Когда я его купил за полтинник у охотника, то привел его на веревочке к бабушке. Покормил его молоком на кухне, но в дом его не пустили. Повел его по улице искать, куда его поместить, пошел к Дубинину и с веревочки его спустил. Он и побежал от меня в сторону, у забора, у огорода… Я бегу за ним, а он от меня. Кричу: «Польтрон, Польтрон». Он обернулся и побежал дальше. Я за ним: «Польтрон», – кричу я и заплакал. Польтрон остановился и подошел ко мне. Польтрон больше не бежал от меня. И пошел со мной. Дубинин посмотрел на Польтрона и не оставил его у себя. Только к вечеру, по совету Дубинина, я его увел к заводскому водохранилищу, и приютила его пожилая толстая добрая женщина. Она гладила его голову и поцеловала.

– Пускай, – говорит, – у меня живет, у меня всегда собаки жили, а теперь нету…

И Польтрон жил у нее. Я заходил к ней, брал его с собой на охоту, и в первый же день ушел очень далеко с Польтроном, к Осеченке. Зашел в лес в места, которых не знал раньше, и не знал, где нахожусь. Места глухие, у высокого дубового леса, где была болотина.

Польтрон оказался замечательной собакой, он причуял и медленно шел и вдруг сделал стойку. Огромные тетерева с острым треском вылетели передо мной. И я убил большого глухаря. Польтрон схватил его и принес. Вот какой Польтрон.

Я убил с ним трех глухарей тут же и шел краем леса. Вдруг сбоку выехал верховой и закричал мне:

– Ты чего это?

Я остановился и смотрел на него.

– Билет есть у тебя? – спросил верховой.

Я говорю:

– Нету.

– Так ты чего, ты знаешь, где ты?

Я говорю:

– Где – не знаю. Я вот здесь…

– Дак здесь. Это ведь Тарлецкого имение, лес его. А ты козу убьешь, здесь дикие козы есть. В тюрьму тебя…

Я говорю:

– Послушайте, я же не знал.

– Так пойдем в контору.

Он ехал верхом, а я шел с Польтроном и с тетеревами рядом. Версты три шел я с ним. Потом, меня ругая, молодой парень-объездчик смягчился сердцем.

– Ничего, ничего, – говорил он, – а штраф отдашь. По пятерке за каждого. Нешто можно так. Вон видишь столб: «Охота воспрещается» написано.

Действительно, на столбе была дощечка, на которой написано: «Охота воспрещается», а вправо был уже дом, куда мы с ним пришли В доме, когда я вошел, было хорошо. Дом новый. Молодая жена сторожа, самовар. Сторож, показывая себя, вынул из шкафчика чернильницу и книжку, сел передо мной, как начальник, и говорит:

– Вот пиши тута: «За неправильную охоту строго воспрещается, местожительство имею…»

Я думаю: «Что такое?»

– Пиши сам, – говорю.

Он говорит:

– Да я-то писать плох. Можно вот как ответить за это.

А жена его, ставя на стол жареные грибы, смеясь, говорит:

– Ишь, какого охотника пымал? Чего вы ето. А ты тоже, писака, ишь какой. Чего рассердился, чего ты пишешь. Садись грибы есть.

Парень еще был в гневе начальства.

– «Чего пишешь», – передразнил он ее, – а как же эдакие-то еще козу убьют… а я его не пымал. Тогда што? А кто скажет, меня ведь вон выгонят.

– Да полно, – говорит жена, – кто узнает… Целый день гоняешь, а чего здесь – никто и не ходит. Вишь барчук, он нечаянно зашел. Брось. Садись чай пить.

И муж послушал ее. Сел есть грибы, а я, как преступник, сидел у столика с книгой. Посмотрев на меня сердито, сторож сказал:

– Садись, небось не ел…

Я сел за стол.

– Анна, – сказал он жене, – достань-ка…

Анна поставила на стол бутылку и рюмки и села сама. Он налил мне рюмку и жене и выпил сам. Посмотрел на меня и спросил:

– А ты кто?

– Я из Волочка, – говорю.

– Э-э, куда ты пехтурой-то дошел. Смотри-ка, вечереет, ведь это тридцать верст… Ты что ж, при деле каком?

– Нет еще, – говорю я.

– Отчего же?

– Учусь. Не знаю еще, во что выйдет ученье мое. Охота мне живописцем сделаться.

– Ишь ты… Вот что. По иконной части.

Я говорю:

– Нет, по иконной не хочу. А вот хочу охоту написать, картину охотничью. Вот как ты меня поймал в лесу, как вот в сторожке с тобой грибы едим.

– Дак чего ж тут?

– Как чего? Хорошо очень… – сказал я и засмеялся. – Уж очень хорошо ты на меня протокол писал…

Жена тоже расхохоталась.

– «Хорошо, хорошо», – передразнил он меня, – а чего ж. Ишь, трех убил глухарей, а напорешься на кого – в ответе я буду.

А жена говорит:

– Да кто здесь ходит?

– А все-таки, – он говорит, – 15 рублей штрафу.

Я говорю:

– У меня пятнадцати рублей нету.

– Нет, дак в тюрьму посадют.

Жена смеется.

– Чего, – говорит она, – Тарлецкий-то не велит, верно, коз стрелять.

– Да разве здесь есть козы?

– Есть, – сказал сторож, – Тарлецкий сам говорил.

– А ты видал?

– Не-ет, я-то не видовал…

Жена, смеясь, говорит:

– Дак никаких коз и нет, а это в прежнем году назад охотники были, господа какие-то, не русские. Вот были – пьяней вина. Дак верно, им козу пустили, белую, молодую. Вот показали, значит, чтоб в козу стрелять. Ну, а она убежала. Видели ее, стреляли, да что, да нешто им охота. Вот они здесь пили. И вино хорошо. Бутылки хлопают, а вино бежит. Жарко было. Дак они прямо бутылки в рот суют. Ну чего, они ничего и не застрелили… Собаки с ними, только собаки за козой не бегут. Она – не дикая, знать, оттого не бегут.

VII. [Поступление в училище живописи, ваяния и зодчества. Первые занятия]

В августе месяце я вернулся в Москву. Сущево. Бедная квартира отца. Отец болен, лежит. Мать все время удручена его болезнью. Отец худой, в красивых глазах его – болезнь.

Жалко мне отца. Он лежит и читает. Кругом него книги. Он был рад меня видеть. Я смотрю – на книге написано: Достоевский. Взял себе одну книгу и читаю. Замечательно…

Пришел брат Сережа. Он жил отдельно с художником Светославским[9] в большом каком-то сарае. Называется – мастерская. Там было хорошо. Светославский писал большую картину – Днепр, а брат мой делал иллюстрации, на которых изображалась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрывающиеся снаряды, ядра – война. Шла война с турками.

– Послезавтра экзамен, – сказал мне брат. – Ты боишься?

– Нет, – говорю, – ничего.

– Твои этюды видел Алексей Кондратьевич Саврасов и очень тебя похвалил. А Левитан сказал, что ты особенный и ни на кого не похож из нас. Но боится – поступишь ли ты. Ты ведь никогда не рисовал с гипса, а это экзамен.

Я подумал: «С гипса – что это значит? Гипсовые головы… как это скучно». И сразу улетел мыслью туда, где озеро, Дубинин, костер ночью, охота. Ну, Польтрона-то я взял с собой. Польтрон и спит со мной. Но я и Польтрон терпеть не можем города, и, думал я, зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади собаки. Там надо жить. Как глупо. Дивные реки России – какая красота. Какие дали, какие вечера, утро какое. Заря всегда сменяется, все для людей. Там надо жить. Сколько простора. А они – вот тут… где помойные ямы на дворах, все какие-то злые, озабоченные, все ищут денег да цепей, сказал я, вспомнив «Цыган» Пушкина. А я так любил Пушкина, что плакал, читая его. Вот это был человек. Он же все сказал и сказал правду. Нет, провалюсь я на экзамене, уйду жить с Дубининым. Отца жалко… и мать…

---

[9] Сергей Иванович Светославский (1857–1931) – пейзажист, занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества в 1874–1882 годах. Участвовал в передвижных выставках с 1884 года, а с 1900 года в выставках «Мира искусства», затем «Союза русских художников».

И шел я дорогой вечером к себе, в Сущево, и слезы капали из глаз… как-то сами собой.

Печально было дома, бедно. А отец все читал. Я смотрел в окно своей маленькой комнатки, и Польтрон лежал около меня. Я погладил, и он сел со мной рядом, посмотрел в окно, сбоку видна площадь – Яузская часть, желтый дом, ворота, скучные и грязные окна… На скамейке пожарные в блестящих касках, римского фасона, курят махорку, сплевывают.

Когда я лег в постель, то услышал – вдали запел голос:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном…[10].

Какой-то далекой грустью и таинственным чувством какого-то дома с высокой лестницей полнилась моя душа. И песня арестанта, который пел в остроге, была полна печали.

* * *

Утром я пошел на Мясницкую в Училище живописи, ваяния и зодчества. Было много учеников. Мимо меня проходили в классы, несли свернутую бумагу, озабоченные, напуганные. Почему-то все с большими волосами. И я заметил, как они все угрюмы, и подумал: «Они, должно быть, не охотники». Лица бледные. Мне казалось, что будто бы их где-то сначала мочили, в каком-то рассоле, а потом сушили. Почему-то мне не очень нравились они. Выражение у многих, почти у всех, было похоже на Петра Афанасьевича. «Наверное, все они умеют влиять, – подумал я. – Какая гадость. Зачем влиять. В чем дело – влиять».

---

[10] Начало стихотворения Я. П. Полонского «Затворница»; в 1840–1860 годах распространенная песня студентов, а затем ссыльных и заключенных.

На другой день я прочел, что назначается экзамен для вступающих: закон божий. И только я прочел, как увидел, что в приемную вошел священник, в роскошной шелковой рясе, с большим наперстным крестом на золотой цепочке. У него было большое лицо, умное и сердитое, и на носу росла картошина. Грузно прошел он в канцелярию мимо меня[11]. Думаю – вот завтра-то… И я побежал домой и засел за катехизис.

Утром, в половине одиннадцатого, солдат при классах, выходя в дверь из комнаты, где шел экзамен, крикнул: «Коровин!»

У меня екнуло сердце. Я вошел в большую комнату. За столом, покрытым синим сукном, сидел священник, рядом с ним инспектор Трутовский[12] и еще кто-то, должно быть преподаватель. Он подал веером мне большие билеты. Когда я взял, перевернул билет, прочел: «Патриарх Никон», я подумал про себя: «Ну, это я знаю». Так как я читал историю Карамзина.

И начал отвечать, что вот Никон был очень образованный человек, он знал и западную литературу, и религиозные стремления Европы, и старался ввести многие изменения в рутине веры.

Батюшка смотрел на меня пристально.

– Вероятнее всего, что Никон думал о соединении христианской религии, – продолжал я.

– Да ты постой, – сказал мне священник, посмотрев сердито, – да ты что ересь-то несешь, а? Это где ты набрался так, а? Выучи сначала программу нашу, – говорил он сердито, – а тогда приходи.

---

[11] Законоучителем в Училище в 1873–1883 годах был священник Романовский.

[12] Константин Александрович Трутовский (1826–1893) – жанрист, иллюстратор, график; академик с 1861 года, инспектор Училища живописи, ваяния и зодчества в 1870–1881 годах.

– Постойте, – сказал Трутовский, – это он, конечно, прочел.

– Ты что прочел?

Я говорю:

– Да, я много прочел, я Карамзина прочел… я Соловьева прочел…

– Спросите его другое, – сказал Трутовский.

– Ну, говори, третий Вселенский собор.

Я рассказал, робея, про Вселенский собор.

Священник задумался и что-то писал в тетрадку, и я видел, как он перечеркивал ноль и поставил мне тройку.

– Ступай, – сказал он.

Когда я проходил в дверь, солдат кричал: «Пустышкин!», и мимо, с бледным лицом, толкнув меня, прошел в дверь другой ученик.

Экзамены прошли хорошо. По другим предметам я получил хорошие отметки, особенно по истории искусств. Рисунки с гипсовой головы выходили плохо, и, вероятно, мне помогли выставленные мной летние работы пейзажей. Я был принят в Училище.

Школа была прекрасная. В столовой за стойкой – Афанасий, у него огромная чаша-котел. Там теплая колбаса – прекрасная, котлеты. Он разрезал ловко ножом пеклеванный хлеб и в него вкладывал горячую колбасу. Это называлось «до пятачка». Стакан чаю с сахаром, калачи. Богатые ели на гривенник, а я на пятачок. С утра живопись с натуры – либо старика или старухи, потом научные предметы до 3-х с половиной, а с 5-ти – вечерние классы с гипсовых голов. Класс амфитеатром, парты идут выше и выше, а на больших папках большой лист бумаги, на котором надо рисовать тушевальным карандашом – черный такой. С одной стороны у меня сбоку сидел Курчевский, а слева – архитектор Мазырин, которого зовут Анчутка[13]. Почему Анчутка – очень на девицу

---

[13] Виктор Александрович Мазырин – архитектор.

похож. Если надеть на него платочек бабий, ну готово – просто девица. Анчутка рисует чисто и голову держит набок. Очень старается. А Курчевский часто выходит из класса:

– Пойдем курить, – говорит.

Я говорю:

– Я не курю.

– У тебя есть два рубля? – спрашивает.

Я говорю:

– Нету, а что?

– Достать можешь?

Говорю:

– Могу, только у матери.

– Пойдем на Соболевку… Танцевать лимпопо, там Женька есть, увидишь – умрешь.

– Это кто же такое? – спрашиваю я.

– Как кто? Девка.

Мне представились сейчас же деревенские девки. «В чем дело?» – думал я.

Вдруг идет преподаватель Павел Семенович – лысый, высокого роста, с длиннейшей черной с проседью бородой. Говорили, что этот профессор долго жил на Афоне монахом[14]. Подошел к Курчевскому. Взял его папку, сел на его место. Посмотрел рисунок и сказал тихо, шепотом, вздохнув:

– Эх-ма… Все курить бегаете…

Отодвинул папку и перешел ко мне. Я подвинулся на парте рядом. Он смотрел рисунок и посмотрел на меня:

– Толково, – сказал, – а вот не разговаривали бы – лучше бы было… Искусство не терпит суеты, разговоров, это ведь высокое дело. Эх-ма… о чем говорили-то?

– Да так, – я говорю, – Павел Семеныч…

---

[14] Павел Семенович Сорокин (1836–1886) – исторический живописец; преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества с 1870 года; академик (с 1883).

– Да что так-то…

– Да вот хотели поехать… он звал лимпопо танцевать.

– Чего?.. – спросил меня Павел Семеныч.

Я говорю:

– Лимпопо…

– Не слыхал я таких танцев что-то… Эх-ма…

Он пересел к Анчутке и вздохнул.

– Горе, горе, – сказал он, – чего это вы. Посмотрели бы на формы-то немножко. Вы кто – живописец или архитектор?

– Архитектор, – ответил Анчутка.

– То-то и видно… – сказал, вздохнув, Павел Семенович и подвинулся к следующему.

Когда я пришел домой, за чаем, где был брат Сережа, я сказал матери:

– Мама, дай мне два рубля, пожалуйста, очень нужно. Меня Курчевский звал, который рисует рядом со мной – он такой веселый, поехать с ним на Соболевку, там такая Женька есть, что когда увидишь, умрешь прямо.

Мать посмотрела на меня с удивлением, а Сережа даже встал из-за стола и сказал:

– Да ты что?..

Я увидел такой испуг и думаю: «В чем дело?» Сережа и мать пошли к отцу. Отец позвал меня, и прекрасное лицо отца смеялось.

– Это куда ты, Костя, собираешься? – спросил он.

– Да вот, – говорю, не понимая, в чем дело, отчего все испугались. – Курчевский звал на Соболевку к девкам, там Женька… Говорит – весело, лимпопо танцевать…

Отец засмеялся и сказал:

– Поезжай. Но ты знаешь, вот что лучше – подожди, я поправлюсь… – говорил он смеясь, – я с тобой поеду вместе. Будем танцевать лимпопо…

VIII. [Профессор Е. С. Сорокин][15]

Преподаватели московского Училища живописи и ваяния были известные художники: В. Г. Перов, Е. С. Сорокин, П. С. Сорокин – его брат, И. М. Прянишников, В. Е. Маковский, А. К. Саврасов и В. Д. Поленов.

Картины Перова всем известны, и лучшие из них были в галерее Третьякова: «Охотники на привале», «Птицелов», «Сельский крестный ход на Пасхе» и «Суд Пугачева». У Прянишникова там же – «Конец охоты», «Пленные французы». У Маковского – «Вечеринка», «В избушке лесника», «Крах банка», «Друзья-приятели» и «Посещение бедных», у Е. С. Сорокина не помню, были ли картины в Третьяковской галерее. У Саврасова была картина «Грачи прилетели». У Поленова – «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Старая мельница», «Больная», «На Тивериадском (Генисаретском) озере» и «Цезарская забава». Но Поленов вступил в Училище как преподаватель пейзажного класса. Он был выбран Советом преподавателей как пейзажист и потому не был преподавателем в натурном классе, где ученики писали тело с натурщиков. За Поленовым, значит, не считалось, что он был чистый жанрист.

В натурном классе были профессора В. Г. Перов, В. Е. Маковский и Е. С. Сорокин.

Сорокин был замечательный рисовальщик, блестяще окончил Академию художеств в Петербурге, получил золотую медаль за программную большую картину и был отправлен за границу, в Италию, где пробыл долгое время. Рисовал он восхитительно. Это единственный рисовальщик-

---

[15] Евграф Семенович Сорокин (1822–1892) – исторический живописец и жанрист; ученик Академии художеств и ее заграничный пенсионер; преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества с 1859 года.

классик, оставшийся в традициях Академии, Брюллова, Бруни, Егорова и других рисовальщиков. Он говорил нам:

– Вы все срисовываете, а не рисуете. А Микеланджело рисовал.

Евграф Семенович писал большие работы для храма. Они многочисленны, и все его работы сделаны от себя. Он умел рисовать человека наизусть. Только платье и костюм он списывал с манекена. Краски его были однообразны и условны. Святые его были благопристойны, хороши по форме, но както одинаковы. Живопись была покойной, однообразной. Нам нравились его рисунки углем, но живопись ничего нам не говорила.

Однажды Евграф Семенович, когда я был его учеником в натурном классе и писал голого натурщика, позвал меня к себе на дачу, которая была у него в Сокольниках. Была весна – он сказал мне:

– Ты пейзажист. Приезжай ко мне. Я пишу уж третье лето пейзаж. Приезжай посмотри.

В сад дачи он вынес большой холст, на котором была изображена его дача желтого цвета, а сзади сосны, Сокольники. Тень ложилась от дачи на землю двора. Был солнечный день. Меня поразило, что отражение в окнах, на стеклах удивительно нарисовано верно, и вся дача приведена в перспективу. Это был какой-то архитектурный чертеж, гладко раскрашенный жидко-масляными красками. По цветам неверный и непохожий на натуру. Все соразмерно. Но натура – совсем другая. Сосны были нарисованы сухо, темно, не было никаких отношений и контрастов. Я смотрел и сказал просто:

– Не так. Сухо, мертво.

Он внимательно слушал и ответил мне:

– Правду говоришь. Не вижу я, что ль. Третье лето пишу. В чем дело, не понимаю. Не выходит. Никогда пейзажа не писал. И вот, не выходит. Ты попробуй, поправь.

Я смутился. Но согласился.

– Не испортить бы, – сказал я ему.

– Ну, ничего, не бойся, вот краски.

Я искал в ящике краски. Вижу – «терр де сьенн», охры, «кость» и синяя прусская, а где же кадмиум?

– Что? – спросил он.

– Кадмиум, краплак, индийская, кобальт.

– Этих красок у меня нет, – говорит Сорокин. – Вот синяя берлинская лазурь – я этим пишу.

– Нет, – говорю я, – это не годится. Тут краски говорят в природе. Охрой это не сделать.

Сорокин послал за красками, а мы пошли покуда в дом завтракать.

– Вот ты какой, – говорил Евграф Семенович, улыбаясь. – Краски не те – и его глаза так добро смотрели на меня, улыбаясь. – Вот что ты, – продолжал Сорокин, – совсем другой. Тебя все бранят. Но тело ты пишешь хорошо. А пейзажист. Удивляюсь я. Бранят тебя, говорят, что пишешь ты по-другому. Вроде как нарочно. А я думаю – нет, не нарочно. А так уж в тебе это есть что-то.

– Что же есть, – говорю я. – Просто повернее хочу отношения взять – контрасты, пятна.

– Пятна, пятна, – сказал Сорокин. – Какие пятна?

– Да ведь там, в натуре, разно – а все одинаково. Вы видите бревна, стекла в окне, деревья. А для меня это краски только. Мне все равно что – пятна.

– Ну постой. Как же это? Я вижу бревна, дача-то моя из бревен.

– Нет, – отвечаю я.

– Как нет, да что ты, – удивлялся Сорокин.

– Когда верно взять краску, тон в контрасте, то выйдут бревна.

– Ну уж это нет. Надо сначала все нарисовать, а потом раскрасить.

– Нет, ничего не выйдет, – ответил я.

– Ну вот тебя за это и бранят. Рисунок – первое в искусстве.

– Рисунка нет, – говорю я.

– Ну вот, что ты, взбесился, что ли? Что ты!

– Нет его. Есть только цвет в форме.

Сорокин смотрел на меня и сказал:

– Странно. Тогда что ж, а как же ты сделаешь картину не с натуры, не видя рисунка.

– Я говорю только про натуру. Вы ведь пишете с натуры дачу.

– Да, с натуры. И вижу – у меня не выходит. Ведь это пейзаж. Я думал – просто. А вот, поди: что делать – не пойму. Отчего это. Фигуру человека, быка нарисую. А вот пейзаж, дачу – пустяки, а вот, поди, не выходит. Алексей Кондратьевич Саврасов был у меня, смотрел, сказал мне: «Эта желтая крашеная дача – мне смотреть противно, не только что писать». Вот чудак какой. Он любит весну, кусты сухие, дубы, дали, реки. Рисует тоже, но неверно. Удивлялся – зачем это я дачу пишу, – и Сорокин добродушно засмеялся.

После завтрака принесли краски. Сорокин смотрел на краски. Я клал на палитру много:

– Боюсь я, Евграф Семенович, попорчу.

– Ничего, порти, – сказал он.

Целым кадмиумом и киноварью я разложил пятна сосен, горящих на солнце, и синие тени от дома, водил широкой кистью.

– Постой, – сказал Сорокин. – Где же это синее? Разве синие тени?

– А как же, – ответил я. – Синие.

– Ну хорошо.

Воздух был тепло-голубой, светлый. Я писал густо небо, обводя рисунок сосен.

– Верно, – сказал Сорокин.

Бревна от земли шли в желтых, оранжевых рефлексах. Цвета горели невероятной силой, почти белые. Под крышей, в крыльце, были тени красноватые с ультрамарином. И зеленые травы на земле горели так, что не знал, чем их взять. Выходило совсем другое. Краски прежней картины выглядывали кое-где темно-коричневой грязью. И я радовался, торопясь писать, что пугаю моего дорогого, милого Евграфа Семеновича, моего профессора. И чувствовалось, что это выходит каким-то озорством.

– Молодец, – сказал, смеясь, Сорокин закрывая глаза от смеха. – Ну, только что же это такое? Где же бревна?

– Да не надо бревен, – говорю я. – Когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотрите на бревна, то там видно в общем.

– Верно, что-то есть, но что это?

– Вот это-то есть свет. Вот это и нужно. Это и есть весна.

– Как весна, да что ты? Вот что-то я не пойму.

Я стал проводить бревна, отделяя полутоном, и сделал штампы сосен.

– Вот теперь хорошо, – сказал Сорокин. – Молодец.

– Ну вот, – ответил, я. – Теперь хуже. Суше. Меньше горит солнце. Весны-то меньше.

– Чудно. Вот от того тебя и бранят. Все ты как-то вроде нарочно. Назло.

– Как назло, что вы говорите, Евграф Семенович?

– Да нет, я-то понимаю, а говорят, все говорят про тебя…

– Пускай говорят, только вот довести, все соединить трудно, – говорю я. – Трудно сделать эти весы в картине, что к чему. Краски к краске.

– Вот тут-то вся и штучка. Вот что. Надо сначала нарисовать верно, а потом вот как ты. Раскрасить.

– Нет, – не соглашался я. И долго, до поздней ночи, спорил я со своим милым профессором, Евграфом Семено-

вичем. И посоветовал я ему показать это Василию Дмитриевичу Поленову.

– Боюсь я его, – сказал Евграф Семенович. – Важный он какой-то.

– Что вы, – говорю я, – это самый простой и милый человек. Художник настоящий, поэт.

– Ну и не понравится ему моя дача, как Алексею Кондратьевичу. Чудаки ведь поэты.

– Нет, – говорю. – Он не смотрит на дачу. Он живопись любит, не сюжет. Конечно, дача не очень нравится, но не в том дело. Цвет и свет важно, вот что.

– А ты знаешь, я никогда об этом не думал. Пейзаж – это, я так полагал, – дай попробую, думаю, – просто…

Когда уходил от Сорокина, то он простился со мной, смеясь, сказал:

– Ну и урок. Да задал ты мне урок, – и он сунул мне в карман пальто конверт.

– Что это вы, Евграф Семенович?

– Ничего, возьми. Это я тебе… сгодится.

Я ехал домой на извозчике. Вынул и разорвал конверт. Там лежала бумажка в сто рублей. Какая была радость.

IX. [С. И. Мамонтов][16]

Частная опера Мамонтова в Москве открылась в Газетном переулке в небольшом театре. С. И. Мамонтов обожал итальянскую оперу. Первые артисты, которые пели у него, были итальянцы: Падилла, Франческо и Антонио д'Андраде[17]. Они

---

[16] Савва Иванович Мамонтов (1841–1918) – председатель правления Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Его имя тесно связано с развитием русского искусства в конце прошлого века.

[17] Певцы Франческо д'Андраде (1859–1921) и Антонио д'Андраде (1854–1942) родом из Португалии, входили в состав итальянской труппы.

скоро сделались любимцами Москвы. Но Москва враждебно встретила оперу Мамонтова. Солидное деловое купечество говорило, что держать театр председателю железной дороги как-то не идет. С. И. Мамонтов поручил И. И. Левитану исполнение декораций к опере «Жизнь за царя». А мне – «Аиду» и потом «Снегурочку» Римского-Корсакова. Я работал совместно с В. М. Васнецовым, который сделал прекрасные четыре эскиза декораций для «Снегурочки», а я исполнил остальные по своим эскизам. Костюмы для артистов и хора Васнецова были замечательные. Снегурочку исполняла Салина[18], Леля – Любатович[19], Мизгиря – Малинин[20], Берендея – Лодий[21], Бермяту – Бедлевич[22], «Снегурочка» прошла впервые, и ее холодно встретили пресса и Москва. Савва Иванович говорил:

– Что ж, не понимают…

Васнецов был вместе со мной у Островского. Когда Виктор Михайлович говорил ему с восторгом о «Снегурочке», Островский как-то особенно ответил:

– Да что… Все это я так… сказка…

Видно было, что это дивное произведение его было интимной стороной души Островского. Он как-то уклонялся от разговора.

---

[18] Надежда Васильевна Салина, в замужестве Юрасовская, – певица (лирико-драматическое сопрано), выступала в Частной опере в 1885–1887 годах и в Большом театре до 1908 года; затем педагог Московского филармонического общества.

[19] Татьяна Спиридоновна Любатович (1859–1932) – певица Частной оперы, сестра видного члена «Земли и воли» Ольги Любатович.

[20] Михаил Дмитриевич Малинин (псевдоним – Буренин) – певец, был также управляющим делами Частной оперы.

[21] Петр Андреевич Лодий (1855–1920) – певец (тенор), друг Мусоргского, Балакирева, Чайковского и нередко первый исполнитель их произведений.

[22] Антон Казимирович Бедлевич (1859–1917) – певец (бас), выступал в Частной опере после окончания Московской консерватории в 1885 году.

– Снегурочка, – говорил он, – ну разве вам нравится? Я удивляюсь. Это я так согрешил. Никому не нравится. Никто и знать не хочет.

Меня очень поразило это. Островский, видимо, так ценил это свое мудрое произведение, что не хотел верить, что его кто-то поймет. Это было так особенно и так рисовало время. А Римский-Корсаков даже не приехал посмотреть в Москву ее постановку. Мамонтов был очень удивлен этим. Говорил мне:

– Знаменательно. Эти два больших человека, Островский и Римский-Корсаков, не верят, что их поймут, не допускают мысли, так же как и Мусоргский не верил и не ценил своих произведений. Холодность и снобизм общества к дивным авторам – это плохой признак, это отсутствие понимания, плохой патриотизм. Эх, Костенька, – говорил мне Савва Иванович, – плохо, косно, не слышат, не видят… Вот «Аида» полна, а на «Снегурочку» не идут и газеты ругают. А верно сказал офицер:

Мечты поэзии, создания искусства,
Восторгом сладостным наш ум не шевелят…[23].

– Большой и умный был человек Лермонтов, – сказал Савва Иванович. – Подумайте, как странно, я дал студентам университета много билетов на «Снегурочку» – не идут. Не странно ли это. А вот Виктор (Васнецов) говорит – надо ставить «Бориса», «Хованщину» Мусоргского. Не пойдут. Меня спрашивает Витте, зачем я театр-оперу держу, это несерьезно. «Это серьезнее железных дорог, – ответил я. – Искусство это не одно развлечение только и увеселение». Если б вы знали, как он смотрел на меня, как будто на человека из Суконной слободы. И сказал откровенно, что в искусстве он ничего не понимает. По его мнению, это только увеселение. Не

[23] «Дума» М. Ю. Лермонтова.

странно ли это, – говорил Мамонтов. – А ведь умный человек. Вот и подите. Как все странно. Императрица Екатерина, когда было крепостное право и она была крепостница, на здании Академии художеств в Петербурге приказала начертать: «Свободным художествам». Вельможи взволновались. «Успокойтесь, вельможи, это не отмена крепостного права, не волнуйтесь. Это свобода иная, ее поймут те, которые будут иметь вдохновение к художествам». А вдохновение имеет высшие права. Вот консерватория тоже существует, а, в императорских театрах отменяют оперы и не ставят ни Мусоргского, ни Римского-Корсакова. Надо, чтобы народ знал своих поэтов и художников. Пора народу знать и понимать Пушкина. А министр финансов говорит, что это увеселение. Так ли это? Когда будут думать о хлебе едином, пожалуй, не будет и хлеба.

Савва Иванович увлекался театром. Русских артистов он старался оживить. В опере он был режиссером и понимал это дело. Учил артистов игре и старался объяснить им то, что они поют. Театр Мамонтова выходил какой-то школой. Но пресса, газеты были придирчивы к артистам, и театр Мамонтова вызывал недоброжелательство. У Мамонтова в репертуаре были поставлены новые иностранные авторы: «Лакме» Делиба, где пела партию Лакме знаменитая Ван-Зандт[24]. Так же был поставлен «Лоэнгрин» Вагнера, «Отелло» Верди, где пел Таманьо[25], Затем Мазини[26], Броджи, Падилла – все лучшие певцы Италии пели в опере Мамонтова.

Москва была богата и избалована. Не только Москва, но даже Харьков имел в летнем сезоне итальянскую оперу, и

---

[24] Мария Ван-Зандт (1861–1919) – американская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), выступавшая с большим успехом в мамонтовской опере и в лучших театрах Европы.

[25] Франческо Таманьо (1851–1905) – знаменитый итальянский певец (тенор), неоднократно выступавший в России.

[26] Анджело Мазини (1845–1926) – итальянский певец (тенор), пользовавшийся громадным успехом.

труппа Мамонтова была и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе. Довольство жизнью было полное. Рынки были завалены разной снедью – рыбой, икрой, птицей, дичью, поросятами. Железные дороги были полны пассажиров. Промышленность шла, Россия богатела. Рынки были завалены товарами, из-за границы поступало все самое лучшее. Заграница была в моде, и много русских ездили за границу. Это считалось как бы обязательным. Летние сады развлечений были полны иностранными артистами – оперетка, загородные бега и скачки, рестораны были полны посетителями, там пели венгерские, цыганские, румынские хоры. Летом большинство жителей Москвы уезжали на дачи, которые были обильно настроены в окрестностях Москвы. Там жизнь велась в природе. Оставшихся в Москве считали мучениками. Но странно, несмотря на довольство жизнью, многие из поместий и городов стремились уехать за границу. Меня это удивляло. Неужели лето за границей было лучше, чем в России? Нет. Я нигде не видал лета лучше, чем в России, и не знаю моря и берега лучше Крыма. Но Крым считался «не то», чего-то не хватало. Не рулетки ли, думал я, или баккара, которые были запрещены в России.

Театр Мамонтова и декоративные работы для опер дали мне возможность заниматься личной живописью, хотя театр много отнимал времени. В то же время я имел возможность писать с натуры, не подчиняясь времени и никаким влияниям. Работал так, как мне хотелось, в поисках своих достижений в живописи. Я был меценатом сам себе. Сначала я выставлял на Передвижных выставках, а потом встретил в Петербурге С. П. Дягилева, который нашел меня. Я увидел – Дягилев восторженно любит живопись и театр[27]. И тут же

[27] Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) – инициатор и организатор многих начинаний, оказавших большое влияние на судьбы отечественного и зарубежного искусства.

затеяли с ним издать журнал «Мир искусства». Я рисовал первую обложку для журнала и сделал несколько рисунков красками. Из многих заработанных денег я дал Дягилеву 5000 для издания журнала. Еще выпросил у Саввы Ивановича 12 000 рублей и познакомил Дягилева с Мамонтовым. Журнал Дягилева был встречен очень враждебно. Он сделал какую-то революцию в искусстве. Но журнал шел нарасхват.

В 1901 году я был приглашен профессором в Училище живописи, ваяния и зодчества, в отдельный класс, для преподавания живописи. Ко мне поступали ученики, окончившие натурный класс. Преподавал совместно со мной и Серов. В нашем классе мы впервые поставили живую модель – обнаженную женщину, и учениками лучшими были: Сапунов[28], Судейкин[29], Туржанский[30], Крымов[31], Кузнецов[32], Машков[33], Фальк[34] и много других, которые как-то распылялись и не были заметны. Дорого стоят государству художники, и всегда их мало. Как это странно, несмотря на огромную Россию. Что-то мешало, и мало было влюбленности в искусство и жизнь, в радость жизни и в искусство <…>.

---

[28] Николай Николаевич Сапунов (1880–1912) – художник и декоратор.

[29] Сергей Юрьевич Судейкин (1883–1946) – художник и декоратор; участник выставок «Мир искусства» и «Голубая роза».

[30] Леонард Викторович Туржанский (1875–1946) – пейзажист; занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества в 1898–1909 годах.

[31] Николай Петрович Крымов (1884–1958) – пейзажист, декоратор и педагог; занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества в 1904–1911 годах.

[32] Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878–1968) – художник и декоратор; занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества в 1897–1907 годах.

[33] Илья Иванович Машков (1881–1944) – художник и педагог; до Октябрьской революции – один из видных участников выставок «Бубнового валета».

[34] Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) – художник; занимался в Училище в 1905–1911 годах.

X. [С. И. Мамонтов. Работа в императорских театрах]

На меня произвел чрезвычайно сильное впечатление неожиданный случай. Как-то утром в мою мастерскую, на Садовой, в доме Червенко[35] пришел В. Д. Поленов и сказал:

– Ты слышал, вчера арестован Савва и увезен в тюрьму. Я спрашивал у Васнецова, у Третьякова и у председателя суда, моего знакомого, – никто не знает причин, почему арестован Савва Иванович.

Я был поражен. Тут же пришел В. А. Серов, который тоже очень удивился.

– В чем дело? – спросил Серов. – Я вчера был у Саввы Ивановича, и он был в хорошем настроении.

У кого мы ни спрашивали и как мы ни старались узнать, нам никто не мог объяснить ареста Мамонтова. Я видел С. П. Чоколова[36], Кривошеина[37], Цубербиллера[38] и других знакомых общественных деятелей, адвоката Муромцева[39] – никто ничего сказать не мог. Семья Мамонтова тоже ничего не знала. Что сделал Савва Иванович, почему такой быстрый арест – мы не могли себе объяснить. Политикой Савва Иванович не занимался, он не был похож на человека, который

---

[35] Иван Федорович Червенко (1838–1903) – инженер Московско-Курской железной дороги, затем ученик Училища живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1884 году по архитектурному отделению.

[36] Семен Петрович Чоколов – инженер путей сообщения, участвовавший в строительстве Вологодско-Архангельской железной дороги.

[37] Александр Васильевич Кривошеин (1858–1923) – в молодые годы юрисконсульт Ярославской железной дороги; впоследствии крупный чиновник.

[38] Владимир Владимирович Цубербиллер (1866–1910) – товарищ прокурора Москвы.

[39] Сергей Андреевич Муромцев (1850–1910) – юрист, профессор Московского университета, председатель I Государственной думы.

мог совершить растрату, потому что Савва Иванович был всегда довольно расчетлив, не был игроком и кутилой, в деньгах был скромен и даже несколько скуп. Постепенно мы узнали, что это по слухам, арест из-за растраты при постройке Архангельской железной дороги. Я узнал, где находился Савва Иванович, поехал получить с ним свидание. Очень долго добивались этого свидания Серов и я. Увидал его в тюрьме, где нам дали пять минут на свидание. Савва Иванович, одетый в свое платье, вышел к нам в приемную комнату для свиданий. Он, как всегда, улыбался и когда мы его спросили – в чем дело, то сказал нам:

– Я не знаю.

И так прошло долгое время. Я приехал в Петербург и увидел Сергея Юльевича Витте, который был министром. Сергей Юльевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова.

– Против Саввы Ивановича, – сказал он, – всегда было много нападок. И на обвинение его «Новым временем» в растрате он как душеприказчик чижовских капиталов ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, представил отчет. Оставленные Чижовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича, которое носит явную форму презрения к клевете, могло и сейчас сыграть такую же характерную для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен.

И Витте, прощаясь со мной, как-то в сторону сказал про кого-то:

– Что делать, сердца нет…

Серов Валентин Александрович писал в это время портрет государя и, окончив, сказал царю:

– Вот Мамонтов арестован, и мы, его друзья, не знаем за что.

– Мне говорят все, что он виноват, – сказал государь. – Но жаль старика и мне. И я сейчас же дам приказ, чтоб он был переведен под домашний арест.

На другой же день Мамонтов был переведен в дом своего сына Сергея Саввича[40], где мы видели его и приходили к нему. Как известно, в процессе Мамонтова, где прокурор Курлов[41] говорил обвинительную речь, присяжные заседатели в полном составе вынесли оправдательный приговор Савве Ивановичу Мамонтову. Выйдя из суда, Савва Иванович поехал на свой гончарный завод на Бутырках, где он с Врубелем делал из глины прекрасные произведения майолики. Савва Иванович заехал ко мне в мастерскую на Долгоруковской улице, пригласил меня к себе, и мы вместе с ним поехали в его две комнаты в маленьком домике на гончарный завод. Было поздно. Ворота были заперты, Мы звонили, но никто не отворял. Сбоку у забора в песке была лазейка для собак. И вот в эту лазейку мы пролезли с Саввой Ивановичем. Нас встретил Петр Кузьмич [Ваулин], который заведовал обжигом майолики. Савва Иванович сказал:

– Ну, Костенька, теперь вы богатый человек. Сейчас поставим самовар, едите за калачами.

Я – в ворота, побежал в лавочку, достал калачей, баранок, колбасы, каких-то закусок и принес Савве Ивановичу. Савва Иванович был, как всегда, весел. Потеря состояния, тюрьма и суд на него не произвели никакого впечатления. Он только сказал мне:

– Как странно. Один пункт обвинения гласил, что в отчете нашли место, очень забавное: мох для оленя – 30 рублей. Костенька, – сказал Мамонтов, – помните этого оленя, бедного, который умер у Северного павильона на Нижегородской вы-

---

[40] Сергей Саввич Мамонтов (1867–1915) – журналист и драматург.

[41] Павел Григорьевич Курлов (1860–1923) – впоследствии был минским губернатором (1905–1906), а в 1909–1911 годах – товарищем министра внутренних дел. В 1912 году Курлов обвинялся в государственных хищениях.

ставке. Его не знали чем кормить, и мы так жалели: мох то, должно быть, не тот, он не ел. Бедный олень.

И Савва Иванович смеялся.

– Видите, его положение было хуже, чем мое. Мошенники-то, мох-то, должно быть, не тот дали, не с севера.

Савва Иванович так и остался жить на своем заводе. И сожалел все время, что не может поставить опять в театре тех новых опер, партитуры которых он покупал и разыгрывал с артистами <…>.

Савва Иванович был очень рад, что, работая в качестве консультанта-художника по устройству на Всемирной парижской выставке 1900 года отдела окраин России, я получил как художник высшие награды от французского правительства. Золотые медали получили я, Серов и Малявин. В это время Врубель приехал из-за границы и жил со мной. И странное было веяние в прессе по отношению к художникам. Из заграницы кто-то привез модное слово «декадентство», и оно обильно и трескуче применялось ко мне и Врубелю. Не было дня, чтоб каждая газета на все лады неустанно, в виде бранного отзыва и полного отрицания нас как художников не применяла бы это слово. Но, несмотря на это, однажды ко мне приехал управляющий конторой московских императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский[42] и предложил мне вступить в театр как художнику, для чего он делает особое новое положение, и просил помочь ему в деле реформы московских императорских театров.

– Причем, – сказал он мне, – вам предоставляется создавать постановки, столь же художественные, как те, которые были в театре Мамонтова. Но, к сожалению, должен сказать вам, что вы встретите много препятствий, главным образом в прессе от непонимания, а в театре – от артистов и рутины. Но

---

[42] Владимир Аркадьевич Теляковский (1861–1924) – полковник; управляющий московской конторой императорских театров в 1898–1901 годах, затем по 1917 год – директор императорских театров.

я постараюсь всегда поддержать ваши достоинства. Театры до такой степени пали с художественной стороны, что, например, балет не может быть дальше в таком положении. Он не посещается совсем публикой, его сборы не превышают тридцати рублей. Театр пуст, и на каждое представление балета чиновники конторы и посыльные едут в казенные учебные заведения, институты и кадетские корпуса, военные учебные заведения пополнять публику спектаклей учениками этих заведений. Эти девицы и юноши, возвращаясь из театров, с балетов, не подготавливают уроков, что отражается ненормально на положении казенных учебных заведений. Этим отчасти объясняется и уход директора Всеволожского[43], и поговаривают даже о закрытии балетной школы в Москве и Петербурге. Данный недавно балет «Звезды» с бенгальским огнем, с безвкусной постановкой, сделал два раза сборы по 300 с чем-то рублей. Публика на балеты не идет. Надо внести вкус и понимание.

Я предложил Теляковскому пригласить художника А. Я. Головина, человека большого вкуса.

Первый балет, для которого мы работали костюмы и декорации, был «Дон Кихот». Удивительно, что, несмотря на вопль газет, балет шел при полных сборах. Артисты не желали надевать мои костюмы, рвали их. Я ввел новые фасоны пачек вместо тех, которые были ранее, похожие на абажуры для ламп. Пресса, газеты с остервенением ругали меня: декадентство. Грингмут писал: «Декадентство и невежество на образцовой сцене…»[44]. Прекрасный артист Малого театра, Ленский, считавший себя художником и знатоком, писал в «Русских ведомостях»: «Импрессионизм на сцене император-

---

[43] Иван Александрович Всеволожский (1835–1909) – директор императорских театров в 1881–1899 годах, затем директор Эрмитажа.

[44] Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907) – редактор-издатель реакционной газеты «Московские ведомости».

ского театра», причем слово «импрессионизм» бралось тоже, как ругательство, так же, как и декадентство[45].

В декоративной мастерской, где я писал декорации, я увидел, что холст, на котором я писал клеевой краской, не сох, и темные пятна не пропадали. Я не понимал, в чем дело. И получил анонимное письмо, в котором безграмотно мне кто-то писал, что маляры-рабочие кладут в краску соль, которая не дает краске сохнуть. На В. А. Теляковского, который сидел в партере на репетиции в Малом театре, бросилась с криком какая-то женщина, желая ему нанести оскорбление – ударить. Теляковский схватил эту женщину за руки, а в конторе императорских театров в это время сидел в телефонной будке рецензент из «Московских ведомостей». Оказалось, что телефон уже был соединен с Петербургом, и туда было дано знать, что Теляковскому нанесено оскорбление действием во время репетиции. Наутро в Петербурге газеты оповестили, что управляющему московской конторой императорских театров нанесено оскорбление действием. Так Теляковский был принят в Москве в императорских театрах.

Я купил себе револьвер и большую кобуру, и писал декорации с револьвером на поясе. К удивлению, это произвело впечатление.

Не понравилось прессе то, что ранее журналисты имели право, когда им угодно, ходить за кулисы, а Теляковский запретил, а также запретил и всем богатым москвичам-меценатам входить за кулисы, где те в уборных пили шампанское с артистами. Теляковского ругали в газетах, и все его реформы-улучшения ни во что не ставили. Это была сплоченная компания, и вступление новых сил в театр было почти невозможно. Теляковскому было трудно справляться со все-

---

[45] Александр Павлович Ленский, настоящая фамилия Вервициотти (1847–1908), – выдающийся актер, режиссер и педагог; с 1876 года до конца жизни был в труппе Малого театра.

ми препятствиями, но странно то, что, несмотря на всю травлю прессой Теляковского, меня, Головина, – сборы императорских театров были полные.

По выходе князя Волконского[46] из директоров императорских театров, государь назначил на эту должность В. А. Теляковского, Я старался сделать как можно лучше постановки и работал дни и ночи в мастерских.

Казалось, будто ничего не было в России другого важного, кроме криков прессы о театрах. Все газеты были полны критикой и бранью по адресу императорских театров. В прессе шипела злоба и невежество, а театры были полны. Теляковский находился в Петербурге, и я ездил туда оформлять постановки, вводил в костюмерные мастерские новые понятия о работе над костюмом и делал окраску материй и узоров согласно эпохе, желая в операх и в балетах радовать праздником красок. За роскошь спектаклей упрекали газеты и контроль императорского двора, который тоже хотел придраться и был невольно удивлен, что новые постановки выходили вчетверо дешевле прежних. Когда Теляковский пригласил Шаляпина, то я и Головин хотели окружить великого певца красотой. Теляковский любил Шаляпина.

Как-то раз, когда Федор Иванович, зайдя ко мне утром на квартиру в Петербурге, на Театральной улице, которая была над квартирой Теляковского, вместе со мной спустился к директору. В большой зале-приемной мы услыхали, что в кабинете кто-то играл на рояле. Шаляпин сказал мне:

---

[46] Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) – внук декабриста С. Г. Волконского, директор императорских театров в 1899–1901 годах; автор ряда книг по различным областям искусства, но преимущественно по вопросам театра, а также двухтомного (в трех книгах) издания «Мои воспоминания», вышедшего в Мюнхене в 1923 году; в эмиграции – сотрудник зарубежных русских изданий, а также директор Русской консерватории в Париже.

– Слышишь? У него играет кто-то. Хорошо играет… Кто это?

Из кабинета вышел Владимир Аркадьевич и пригласил нас из зала к нему в кабинет. Шаляпин, видя, что никого нет, кроме нас, спросил Теляковского:

– А где же этот пианист?

– Это я согрешил, – сказал, смеясь, Теляковский.

– Как вы? – удивился Шаляпин.

– А что? – спросил Теляковский.

– Как что? Да ведь это играл настоящий музыкант.

– Вы думаете? Нет, это я, Федор Иванович, – я ведь консерваторию кончил. Но прежде играл, старался. Меня Антон Григорьевич Рубинштейн любил[47]. Играли с ним в четыре руки часто. Говорил про меня: «Люблю, говорит, играть с ним. У него, говорит, „раз“ есть…»

Только тут мы узнали, что Теляковский был хороший пианист. По скромности он никогда не говорил об этом раньше. Дирижеры всегда удивлялись, когда Теляковский делал иногда замечания по поводу ошибок в исполнении. И все думали – кто ему это сказал, тоже не зная, что Теляковский был музыкант.

Владимир Аркадьевич не один раз вел разговор с Саввой Ивановичем Мамонтовым. Он хотел его назначить управляющим московских императорских театров, но Савва Иванович не соглашался и не шел в театр.

– Почему? – спрашивал я Савву Ивановича.

– Нет, Костенька, – говорил мне Савва Иванович, – поздно, старый я. И опять сидеть в тюрьме не хочется… Довольно уж. Он, Владимир Аркадьевич, господин настоящий, и управлять он может. А я не гожусь – съедят, подведут, сил нет у меня таких бороться…

---

[47] Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1894) – композитор, пианист и дирижер; основатель Петербургской консерватории.

Так Савва Иванович Мамонтов и не пошел в императорские театры.

XI. [М. А. Врубель]

Я немало страдал в жизни, так сказать, от непонимания, а еще больше от клеветы, от зависти, выражаемой часто под видом дружбы, от людей, которые ко мне приближались. Я чувствовал ее от многих, с которыми в жизни сталкивался. Мне казалось, что это какой-то страшный дьявол у людей, дьявол в человеческой душе, более страшный, чем непонимание. Я его испытал от многих притворных моих друзей. По большей части эти люди подражали мне, подражали моей живописи, моей инициативе, моей радости в жизни, моей манере говорить и жить. Среди друзей моих, которые были лишены этих низких чувств и зависти, были В. А. Серов и М. А. Врубель. Почти все другие были ревнивы и завистливы.

Среди художников и артистов я видел какую-то одну особенную черту ловкачества. Когда кого-либо хвалили или восторгались его созданием, то всегда находились люди, которые тут же говорили: «Жаль, пьет». Или: «Он мот» или вообще: «Знаете, ведет себя невозможно». Огромную зависть вызывал М. А. Вру-бель своим настоящим гениальным талантом. Он был злобно гоним. Его великий талант травили и поносили и звали темные силы непонимания его растоптать, уничтожить и не дать ему жить. Пресса отличалась в первых рядах этого странного гонения совершенно неповинного ни в чем человека. М. А. Врубель, чистейший из людей, кротко сносил все удары судьбы и терпел от злобы и невежества всю свою жизнь. Врубель был беден и голодал, голодал среди окружающего богатства. В моей жизни великое счастье – встреча и жизнь с этим замечательным человеком возвышенной души и чистого сердцем, с человеком просвещенным, светлого ума. Это был один из самых просвещенных людей, которых я

знал. Врубель ни разу не сказал о том, что не так, что не интересно. Он видел то, что только значительно и высоко. Я никогда не чувствовал себя с ним в одиночестве.

Савва Иванович Мамонтов только в конце жизни понял талант Врубеля. В. И. Суриков был поражен работами Врубеля. Прочие долго не понимали его. П. М. Третьяков[48] приехал ко мне, в мою мастерскую, уже во время болезни Врубеля и спросил меня об эскизе Врубеля «Хождение по водам Христа». Я вынул этот эскиз, который когда-то приобрел у Врубеля и раньше показывал его Павлу Михайловичу в своей мастерской на Долгоруковской улице, где мы жили вместе с Врубелем. Павел Михайлович тогда не обратил на него никакого внимания и сказал мне, что не понимает таких работ. Помню, когда вернулся Врубель, то я сказал ему:

– Как странно… Я показал твои эскизы, вот этот – «Хождение по водам», а также иллюстрации к «Демону», он сказал, что не понимает.

Врубель засмеялся.

Я говорю:

– Чему ж ты рад?

– А знаешь ли, я бы огорчился, если бы он сказал, что он его понимает.

Я был удивлен таким взглядом.

Теперь снова достал эскиз Врубеля и поставил его на мольберт перед Третьяковым.

– Да, – сказал он, – я не понял раньше, Уж очень это как-то по-другому.

На другой стороне этого картона, где был эскиз Врубеля, имелся тоже его акварельный эскиз театральной занавеси, на котором на фоне ночи в Италии были изображены музыкан-

---

[48] Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) – выдающийся деятель отечественной культуры, основатель ныне знаменитой Третьяковской галереи.

ты, играющие на инструментах, и женщины, слушающие их. Костюмы этих фигур говорили об эпохе чинквеченто[49]. Павел Михайлович хотел разрезать этот картон, эскиз занавеса возвратить мне, а за эскиз «Хождение по водам» заплатить мне деньги. Я просил Павла Михайловича принять эскиз этот как дар.

Умер Врубель. Умер и Павел Михайлович Третьяков. Эскиз «Хождение по водам» был выставлен им при жизни в галерее. И когда после смерти его заведовали галереей Остроухов[50], Серов и Щербатов[51], то я написал письмо им, что нет ли сзади картона «Хождения по водам» другого чудесного эскиза Врубеля. Они посмотрели, вынули из рамы и увидели на той стороне картона эскиз занавеса. Как странно, что Павел Михайлович на всю жизнь заклеил в раму и обернул к стене замечательный эскиз Врубеля. Остроухов разрезал картон, и эскиз занавеса хотел отдать мне, но я и его пожертвовал галерее. Закупочная комиссия Третьяковской галереи не приобрела у Врубеля его картины «Демон», находившейся на выставке «Мир искусства» в Петербурге, при жизни Врубеля. Но после смерти та же комиссия перекупил его в Третьяковскую галерею от фон Мекка[52] и заплатила в пять раз дороже, чем просил за свою картину Врубель.

Странно, что Врубель относился к театру С. И. Мамонтова без особого увлечения. Говорил, что певицы поют как бы на каком-то особенном языке – непонятно, и предпочитал ита-

---

[49] Cinquecento – XVI век (*ит.*).

[50] Илья Семенович Остроухов (1858–1929) – пейзажист; один из виднейших и образованнейших коллекционеров конца XIX – начала XX века; действительный член Академии художеств с 1906 года; член Совета Третьяковской галереи в 1899–1903 годах, а с 1905 по 1913 год – ее попечитель.

[51] Сергей Александрович Щербатов – художник, коллекционер, автор воспоминаний «Художник в ушедшей России».

[52] Владимир Владимирович фон Мекк (1877–1932) – сын крупного железнодорожного предпринимателя.

льянцев. Про Шаляпина сказал Савве Ивановичу, что он скучный человек и ему очень тяжелы его разговоры: «Он все что-то говорит – так похоже, как говорит плохая прислуга, всегда обиженная на своих господ».

Это оригинальное мнение удивляло меня и Савву Ивановича. Врубель никогда не смотрел ничьих картин. Раз он както немножко похвалил меня, сказав:

– Ты видишь краски, цветно, и начинаешь понимать декоративную концепцию…

Репину сказал как-то у Мамонтова в Абрамцеве, что он не умеет рисовать. Савва Иванович обиделся за Репина и говорил мне:

– Ну и странный человек этот Врубель.

Бывая в Абрамцеве, Врубель подружился с гувернеромфранцузом стариком Таньоном, и они целый день разговаривали.

– Вы думаете о чем они говорят? – сказал мне Савва Иванович. – О лошадях, о парижских модах, о томи как повязывается теперь галстук и какие лучше марки шампанского. А странный этот артист, а какой он элегантный и как беспокоится о том, как он одет.

Когда я спросил Врубеля о Репине, он ответил, что это тоска – и живопись и мышление, «Что же он любит, – подумал я. – Кажется, только старую Италию. Из русских – Иванова и Академию художеств».

– Любить ли ты деревню? – спросил я его.

– Конечно, – ответил Врубель, – как же не любить природу. Но я не люблю людей деревни, они постоянно ругают мать: «мать», «мать твою». Это отвратительно, – сказал он. – Потом они жестоки с животными и с собаками…

И я подумал; «Все же Врубель особенный человек».

Врубель окружал себя странными людьми, какими-то снобами, кутилами, цирковыми артистами, итальянцами,

бедняками, алкоголиками. Врубель никогда не говорил о политике, любил скачки, не играл в тотализатор, совершенно презирал игру в карты и игроков. Будучи в Монте-Карло с Сергеем Мамонтовым, ушел из казино, сказав: «Какая скука». Но любил загородные трактиры и убогую харчевню, любил смотреть ярлыки бутылок, особенно шампанского разных марок. И однажды сказал мне, показав бутылку:

– Смотри – ярлык, какая красота. Попробуй-ка сделать – это трудно. Французы умеют, а тебе не сделать.

Врубель поразительно рисовал орнамент, ниоткуда никогда не заимствуя, всегда свой. Когда он брал бумагу, то, отметив размер, держа карандаш, или перо, или кисть как-то в руке боком, в разных местах бумаги наносил твердо черты, постоянно соединяя в разных местах, потом вырисовывалась вся картина. Меня и Серова поражало это.

– Ты знаешь костюм и убор лошади? – спросил я, увидев средневековую сцену, которую он поразительно нарисовал.

– Как сказать, – ответил Врубель, – конечно, знаю в общем. Но я ее вижу перед собой и вижу такую, каких не было…

Врубель рисовал женщин, их лица, их красоту с поразительным сходством, увидав их только раз в обществе. Он нарисовал в полчаса портрет поэта Брюсова, только два раза посмотрев на него[53]. Это был поразительный рисунок. Он мог рисовать пейзаж от себя, только увидав его одну минуту. Притом всегда он твердо строил форму. Врубель поразительно писал с натуры, но совершенно особенно, как-то превращая ее, раскладывая, не стремясь никогда найти протокол. Особенно он оживлял глаза. Врубель превосходно рисовал и видел характер форм. Он как бы был предшественником всего грядущего течения, исканий художников Запада. Из русского искусства он был восхищен иконами новгородцев. Фарфоры Попова и Гарднера восторгали его так

[53] Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) – поэт и переводчик.

же, как в литературе Пушкин и Лермонтов – он считал, что после них в литературе русской был упадок.

– Нет возвышенности, – говорил Врубель <…>.

Ценил Левицкого, Боровиковского, Тропинина, Иванова, Брюллова и старых академиков… Как-то его спросил мой приятель Павел Тучков[54] о крепостном праве.

– Да, недоразумения были везде, и на Западе. Чем лучше узаконенное право первой ночи? А раньше – инквизиция? Этого, кажется, как-то мало было в России. Но жаль, что народ оставил без понимания своих творцов красоты. Ведь у нас не знают Пушкина, а если и читают, то это такое малое количество. А жаль…

Раз кто-то сказал при Врубеле, что в России – повальное пьянство.

– Неправда, – ответил Врубель, – за границей пьют больше. Но там на это не обращают внимания, и пьяных сейчас же убирает отлично поставленная полиция.

Как-то летом у Врубеля, который жил со мною в мастерской на Долгоруковской улице, не было денег. Он взял у меня 25 рублей и уехал. Приехав вскоре обратно, он взял большой таз и ведро воды, и в воду вылил из пузырька духи, из красивого флакончика от Коти. Разделся и встал в таз, поливая себя из ведра. Потом затопил железную печь в мастерской и положил туда четыре яйца и ел их с хлебом печеные. За флакон духов он заплатил 20 рублей…

– А чудно, – говорю я ему. – Что же это ты, Миша…

Он не понял. Словно это так необходимо. Раз он продал дивный рисунок из «Каменного гостя» – Дон Жуан за 3 рубля. Так просто кому-то. И купил себе белые лайковые перчатки. Надев их раз, бросил, сказав: «Как вульгарно».

---

[54] Павел Александрович Тучков (1862–1918) – родственник С. И. Мамонтова по браку с его племянницей С. Ф. Мамонтовой; приятель Коровина (в иных очерках художник вывел его под фамилией Сучкова).

Врубель мог жить месяц на 3 рубля, ел один хлеб с водой, но никогда ни у кого, кроме меня, не брал взаймы. Врубель много рисовал, делал акварели-фантазии, портреты и бросал их там, где рисовал, Я никогда не видал более бескорыстного человека. Когда он за панно, написанные Морозову, получил 5000 рублей, то он дал обед в гостинице «Париж», где жил. На этот обед он позвал всех там живущих. Когда я пришел поздно из театра, то увидел столы, покрытые бутылками вин, шампанского, массу народа, среди гостей – цыганки, гитаристы, оркестр, какие-то военные, актеры, и Миша Врубель угощал всех, как метрдотель он носил завернутое в салфетку шампанское и наливал всем.

– Как я счастлив, – сказал он мне. – Я испытываю чувство богатого человека. Посмотри, как хорошо все настроены и как рады.

Все пять тысяч ушли, и еще не хватило. И Врубель работал усиленно два месяца, чтобы покрыть долг.

Метрдотель-иностранец из ресторана «Эрмитаж» в Москве однажды сказал про Врубеля, что ему приятно служить, так как он «понимает»: «Это господин настоящий, и с ним я говорю по-английски».

Врубель говорил на восьми языках он окончил Петербургский университет – два факультета: юридический и историко-филологический, оба с золотыми медалями, и Академию художеств, где в оригиналах, рядом с Васиным, Егоровым, Бруни, Брюлловым, висели его замечательные рисунки с нагой натуры. Будучи славянином, Врубель был в отдаленности поляк по происхождению. Многое время жил за границей. Любил ли он заграницу? Я его спросил об этом.

– Да, – ответил он, – мне нравится: там как-то больше равенства, понимания. Но я не люблю одного: там презирают бедность. Это несправедливо, и неверно, и нехорошо. А в России есть доброта и нет меркантильной скупости. Там не-

плохо жить – я люблю, так как там о тебе никто не заботится. Здесь как-то все хотят тобой владеть и учить взглядам убеждениям. Это так скучно, надоело. Подумай, как трудно угодить например, Льву Николаевичу Толстому. Просто невозможно. А сколько всех, которые убеждены в своей истине и требуют покорности именно там и в том, где нужна свобода. Императрица Екатерина женщина была умная и на проекте Академии начертала: «Свободным художествам»...

XII. А. К. Саврасов

Осенью, по приезде в Москву из Останкина, перед окончанием Училища, когда мне было двадцать лет, А. К. Саврасов все реже и реже стал посещать свою мастерскую в Училище[55]. Мы, ученики его – Мельников[56], Поярков, Ордынский, Левитан, Неослер, Светославский, Волков[57] и я, – с нетерпением ожидали, когда он придет опять. В Училище говорили, что Саврасов болен. Когда мы собрались в мастерской, приехав из разных мест, то стали показывать друг другу свои летние работы, этюды. Неожиданно, к радости нашей, в мастерскую вошел Саврасов, но мы все были удивлены: он очень изменился, в лице было что-то тревожное и горькое. Он похудел и поседел, и нас поразила странность его костюма. Одет он был крайне бедно: на ногах его были видны серые шерстяные чулки и опорки вроде каких-то грязных туфель;

---

[55] Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897) – выдающийся пейзажист; преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества в 1857–1882 годах; член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок.

[56] Андрей Павлович Мельников (1852–1930) – художник, историк, этнограф Поволжья и одновременно чиновник особых поручений при нижегородском губернаторе; сын писателя П. И. Мельникова-Печерского, исследователя русского раскола.

[57] Иван Васильевич Волков (1850–1890) – пейзажист.

черная блуза повязана ремнем, на шее выглядывала синяя рубашка, на спине был плед, шея повязана красным бантом. Шляпа с большими полями, грязная и рваная.

– Ну что, – сказал он, как-то странно улыбаясь, – давно я не был у вас. Да, да… давно. Болен я и вообще…

Мы показали ему свои работы, этюды с каким-то трепетом, ждали, что он нам скажет, удивленные его печальным взглядом и особенностью его одежды. Раскладывали на полу этюды.

Алексей Кондратьевич, сидя, смотрел их, прося некоторые поднять и держать в руках.

– Как молодо, как прекрасно, свежо. А вот тут замучено, старался очень – не надо стараться… Муза не любит. Да, да… А вы знаете, муза-то есть, есть… редко с кем она в дружбе, капризна муза. Заскучает и уйдет. А как вы думаете, муза легкомысленна или серьезна? – Саврасов как-то вопросительно посмотрел на нас и, странно улыбаясь, добавил: Муза – это умная дама, и вместе с тем она будет с самым легкомысленным человеком… Да… Как странно. Так думают, но это, пожалуй, неверно. Вообще, как неверно и скучно думают о людях искусства. Ну да. Прекрасно, молодо, мне нравится, что вы никому не подражаете, а влияние есть. А вот недавно погас юный, как вы, Васильев. Это художник был огромный, я поклонялся этому юноше. Умер в Крыму – горловая чахотка[58]. Я просил одного дать ему под картины денег – нет, боялся, что пропадут деньги… Да, да – боялся. И пропал… не деньги, а Васильев. Сколько он стоил, Васильев-то, – никто не знает, и я вообще не знаю – кто что стоит… Я не знаю, что

[58] Федор Александрович Васильев (1850–1873) – пейзажист. Репин, с которым Васильев совершил в 1870 году поездку на Волгу, считал его «феноменальным юношей» и посвятил ему главу в своей книге «Далекое близкое».

стоит серенада Шуберта или две строчки Александра Сергеевича Пушкина:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты…

Да, да… Но как прекрасно, как благородно, возвышенно… Ничего не стоит… На ярмарке вот все известно, что стоит. А это вот – ничего не стоит, – показал он на этюды. – Говорят: правда в живописи. Левитан ищет правды, и вот он, – показал он на меня. – А разве друг мой Шумский, артист Малого театра, – как играет – наслажденье, восторг, правильно, верно жизни – не ищет правды?[59]. А есть еще другая правда – эстетическая. Это корона искусства… Вот я слышал, когда пел Рубини – итальянец. Какая это-правда, что стоит! И чувствует душа и ныне чувствует высокое… Музыка разве правда? Это чувство. Вот, да, да… Федотов – «Вдовушка» – одна правда, ноктюрн Шопена – другая, Микеланджело – третья…

И Саврасов как-то рассеянно посмотрел кругом и продолжал:

– А я долго не был, хворал несколько. Да… Я приду, а вы свободно подумайте, почувствуйте и пишите. Прекрасна природа, возвышайтесь чувством. Велико искусство…

И Саврасов встал и пошел как-то скоро, остановился у двери и обернулся и, как-то растерянно улыбнувшись, сказал:

– Я не совсем здоров… Ну, до свиданья…

И он ушел.

Алексей Кондратьевич не приходил. Вечером как-то, солдат Плаксин, убиравший мастерскую, сказал мне:

– Да ведь он запил, запой у него случился. Человек ён – голова, добрейший. Летом-то вот он писал здесь картины –

---

[59] Сергей Васильевич Шумский, настоящая фамилия Чесноков (1820–1878) – знаменитый актер, игравший в Малом театре. Тщательно продумывая и отделывая роль, Шумский создавал высокохудожественные образы.

их, и хороши… Повадился к ему один тут ходить, ну и носит, прямо в кульке бутылки носит, и пьют вдвоем тута. Тот ему все жену свою ругал – и ругает, вот ругает… Она у его туды-сюды глядит, значит, заело его. Ну вот и пьют, пьют, а закуска цела.

Плаксин стал передо мною, уперся на метлу и так серьезно продолжал:

– Пьешь ежели, то закуси, а ето что без закуски, оченно вредно. У нас во втором взводе и… полковник был, и… человек, дута прямо, – сгорел, себя вином сжег, без закуски потому… Ты выпил – значит закуси, оченно пользительно. А они не евши. Она вот прямо кого хошь в гроб кладет, не глядит, будь ты хошь генерал или вот что я. Ей все одно сгубить.

* * *

В марте, когда уже чувствовалось мановение весны, снега разрыхлялись и дворники кирками кололи московские тротуары, шел я с вечернего класса, пробираясь к себе в Сущево, где жил. Великий пост. Колокольный звон уныло разносился над Москвой. Задумывалась душа. Переходя у Самотеки Садовую улицу, я сзади себя услышал голос: «Костенька!»

Оглянувшись, я увидел Алексея Кондратьевича. В короткой ватной кофте с пледом на плечах. Что-то было мрачное в его огромной фигуре Я подошел к нему – он ласково улыбался.

– Что, – спросил, – с вечерового домой идешь?

– Здравствуйте, Алексей Кондратьевич, – обрадовался я.

– Вот что, Костенька, пойдем. Пойдем – я тебя расстегаем угощу да да… Деньги получил. Пойдем…

И он взял меня за руку.

– Пойдем вот сюда, – показал он на угловой трактир.

Проходя мимо ряда извозчичьих саней, лошадей с подвязанными на мордах мешками с овсом, мы взошли на крыльцо деревянного трактира. Сразу, когда вошли, пахнуло

теплом, чаем, запахом пива, В трактире было много народа, больше извозчиков. За длинной стойкой в жилете и голубой рубашке навыпуск – хозяин, а за ним на полках – бутылки. Половые в белых рубахах бойко носили подносы с чайниками и бутылками.

Саврасов прошел в глубину, где было просторнее, выбрал стол у окошка, сказал мне:

– Садись…

А сам пошел к стойке и что-то говорил с хозяином. Когда возвращался ко мне, то при свете ламп я увидел, что одет он странно, на него посматривали, оборачивались сидевшие за столами.

«Что это такое, – подумал я. – Что с Алексей Кондратьичем случилось, что он так странно одет…» Подойдя, он развернул с шеи большой шерстяной шарф, сбросил плед, снял шляпу и положил около на стул. Воротник грязной рубашки был повязан ярко-красным бантом… Как странно…

– Да, Костенька, – сказал он – да, мы возьмем сейчас расстегаи… Тут умеют… И уха. А сначала тарань…

Расторопный половой поставил тарелки и большую копченую селедку, подал в графине водку и рюмки. Алексей Кондратьевич отставил одну рюмку, сказал половому:

– Убери. Подай грузди.

Налил из графина рюмку, и я увидел, когда он ее подносил ко рту, как дрожали его большие пальцы. Выпив, взял рукой кусок тарани и ел с пальцев, глядя на меня темными глазами, особенными. Будто, какие-то пуговицы, а не глаза глядели на меня. Он опять жадно пил и ел долго, молча. И вдруг сразу оживился, глаза изменились, как будто он проснулся, что-то вспомнил и улыбался. Сказал:

– Деньги… да, да, деньги. Я деньги сегодня получил. Не много. Не платят много. Но приятные деньги. Да, да… Человек приятный, понимает, не слепой, серьезный. В душе лю-

бовь у него, с чувством человек. Вот видишь ли, Костенька, какой я чудной, никак одеться не могу, все врозь пошло. Галстук красный, надену – думаю лучше, все же я артист, ну… пускай смотрят. А вот ему все равно, понимает, ему все равно – какой я, он понимает, что жизнь гонит кого как. Он уважает искусство – картину уважает… Видно, когда смотрит, ясно видно. Скупой, конечно, но деньги его приятны. А вот есть тяжкие деньги, есть такие деньги за картину, с соусом, а соус такой – с упреком, поучением, и видно, что благодетель. Он, конечно, поднадуть хочет тебя, в нем человека йоты, одной йоты нет… Ну, доволен, доволен – бог с ним, все равно, спасибо и тому. Павел Михайлович Третьяков – большой человек. Скажи: Репин – его картину купила бы Академия или вельможи наши? Нет, не купили. И Репин не мог бы писать. Кто собрание сделал? Третьяков, фабрикант. Это не просто. Это – гражданин. Это – человек. Он мыслил, любил, Россию любил. Хочет взять у меня картину. Елки по овражку идут, вниз спускаются к роднику. Трудная вещь, зеленая. Ничего. Не кончена, не могу окончить, лета жду, зимой не могу. Пришел к нему в контору. Говорю: «Да вот, Павел Михайлович, нужно мне полтораста рублей, очень нужно». А он смотрит на меня и платком нос трет, и думает, и говорит мне: «Вы бы, Алексей Кондратьевич, окончили бы елки-то. Хороша картина… Ну и получили бы сразу все. Да… Подождите, – говорит, – ох-ма, я сейчас вернусь и принесу вам из конторы деньги». «Как странно», – подумал я, и сделалось мне как-то страшно и унизительно. Я взял и ушел. Рукавишникову[60] говорил он: «За что на меня обиделся Саврасов?» Нашел он меня, да, нашел. Только елки я отдал другому. Да, да… Всем чужие мы, и своим я чужой. Дочерям чужой…

[60] Константин Васильевич Рукавишников (1848–1915) – купец, в 1893–1896 годах городской голова Москвы, известный благотворитель.

Саврасов налил в рюмку водку и выпил.

– Куда, куда уйти от этой ярмарки? Кругом подвал, темный, страшный подвал, и я там хожу…

Глаза Алексея Кондратьевича остановились и тупо смотрели куда-то. В них была жуть. Я взял его большую руку, взволнованно сказал:

– Не пейте, Алексей Кондратьевич, вам вредно, не пейте…

– Молчать, щенок, – крикнул он, вскочив. В его глазах блеснул синий огонь. Он быстро пошел по трактиру к стойке буфета, как-то топая по полу опорками. Одна опорка соскочила с ноги, он нагнулся, растерянно потянул чулок и упал. Я подбежал к нему, надел опорку на ногу и помог ему встать.

У стойки он платил деньги и еще пил. Вернулся к столу, надел шарф, плед, шляпу, сказал мне: «Пойдем».

Фонари светились у крыльца трактира.

– Прощай, Костенька, – сказал он, – не сердись. Не сердись, милый мой. Не сердись – болен я. Я приду к вам, когда поправлюсь. Вот довели меня, довели… Пойми, я полюбил, полюбил горе… Пойми – полюбил унижение… Пойми. Я приду. Прощай. Не провожай меня.

И, повернувшись, пошел, шатаясь, вдоль забора переулка и скрылся в темноте ночи <…>

Проходя к дому, в Сущево, вижу за забором темный сад. И в ветвях деревьев слышу шелест птиц. Дома лег в постель и думал: «Подвал… Алексей Кондратьевич, Алексей Кондратьевич!.. Как страшно!..»

Утром солнце светило в окно.

– Смотри, Костя, – сказала мне мать. – Встань, посмотри в сад, грачи прилетели.

И я видел, как больное лицо матери обращено вверх на деревья сада. И я ушел к себе в комнату и, уткнувшись в подушку, горько заплакал.

Воспоминания 1917 г.

1917 год. Как странно, что бы это значило? Неужели будет так постоянно, что благая энергия труда для культуры, что рабочие будут строить, а потом разрушать? А так ведь есть на самом деле. И вот что сейчас происходит. И это только у людей.

Во время русской смуты я слышал от солдат и вооруженных рабочих одну и ту же фразу: «*Бей*, все ломай. Потом еще лучше построим!»

* * *

Странно тоже, что в бунте бунтующие были враждебны ко всему, а особенно к хозяину, купцу, барину, и в то же время сами тут же торговали и *хотели походить* на хозяина, купца и одеться барином.

* * *

Все были настроены против техников, мастеров, инженеров, которых бросали в котел с расплавленным металлом. Старались попасть на железную дорогу, ехать было трудно, растеривались, не попав, отчаивались, когда испорченные вагоны не шли, и защищали и дрались из-за места в вагонах. Они не знали, что это создание техники и что это делают инженеры.

* * *

Весь русский бунт был против власти, людей распоряжающихся, начальствующих, но бунтующие люди были полны любоначалия; такого начальствующего тона, такой надменности я никогда не слыхал и не видал в другое время. Это было какое-то сладострастие начальствовать и только начальствовать.

* * *

Странно то, что среди русских людей есть особенности отрадных вожделений души, радости и как бы самой большой и торжественной победы; как бы какие-то заключения важного дела, как бы служение чему-то нужному и высокому. Это есть желание сделать какую-либо особенную пакость счастью, успеху, удаче своему собрату, русскому же. Эта таинственная черта души русского мне, тоже русскому, совершенно не была понятна. И эту черту можно проследить в отношении друг к другу среди писателей и нашей критики.

* * *

Что бы кто ни говорил, а говорили очень много, нельзя было сказать никому, что то, что он говорит, неверно. Сказать этого было нельзя. Надо было говорить: «Да, верно». Говорить «нет» было нельзя – смерть. И эти люди через каждое слово говорили: «Свобода». Как странно.

* * *

Я сказал одному «умному» парню: «Слыхал, в Самарской-то губернии лошади взбунтовались, сели на пролетки, а народ заставили возить себя. Слыхал». – «Вот так штука, – сказал он и, посмотрев, добавил: – Неужто. Во ловко-то».

* * *

Ученики Школы живописи постоянно митинговали, с утра до глубокой ночи. Они реформировали Школу. Реформа заключалась в выборе старост и устройстве столовой (которая была ранее, но называлась буфет). Странно было видеть, когда подавали в столовой какую-то соленую воду с плавающими в ней маленькими кусочками гнилой воблы. Но при этом точно соблюдался черед, кому служить, и старосты были важны, распоряжались ловко и с достоинством, как важные метрдотели.

* * *

Ученики сделали реформу Школы, открыли клуб (клуб Сезанна) и в живописи подражали его манере писать, увидав его картины в галереях Щукина и Морозова. Никому не было стыдно делать камлоты и подражать. В клубе только курили. Была устроена своя столярная для работ подрамников, мольбертов. Но я увидел, что там делали гробы, так как свирепствовала в Москве эпидемия сыпного тифа, много умирало. Я спросил, что это значит. Мне ответили, что получили заказ: *хорошо платят*!

* * *

Трамвай ходил по Москве, но только для избранных, привилегированных, т. е. рабочих фабрик и бесчисленной власти. Я видел, что вагоны трамвая полны; первый женщинами, а второй мужчинами рабочими. Они ехали и не очень складно пели «Черные дни миновали».

* * *

Когда я ехал на извозчике, которых уж было мало, то он, обернувшись, сказал мне: «Слобода-то хороша, но вот когда в кучу деньги все сложат и зачнут делить, тут драки бы не вышло. Вот что». А я спросил его, а давно он в Москве возит. «Лет сорок», – ответил он.

* * *

Была борьба с торговлей вообще. Торговля была воспрещена. Торговали тихонько, из-под полы все.

Была борьба с спекуляцией. Спекулировали все.

Была борьба с эксплуатацией – соль стоила три рубля золотом фунт, крестьяне давали четыре пуда муки за полфунта соли.

* * *

Покупал спички у торговца, у Сухаревой башни, поместившегося у панели мостовой, где были кучи пыли, грязи и лошадиной мочи. Около лотка торговца лежал солдат, лицом прямо упирая в пыль. Я спросил торговца, что это он лежит, больной, должно быть. «Не, – ответил торговец, – так свой это, земляк, спит. Да мы знаем, это не всегда так будет, опять подберут. *Мы хошь немного поживем по-нашему*».

* * *

При обыске у моего знакомого нашли бутылку водки. Ее схватили и кричали на него: «За это, товарищ, к стенке поставим». И тут же стали ее распивать. Но оказалась в бутылке вода. Какая разразилась брань… Власти так озлились, что арестовали знакомого и увезли. Он что-то долго просидел.

* * *

Власть на местах. Один латыш, бывший садовник-агроном, был комиссар в Переяславле. По фамилии Штюрме. Говорил мне: «На днях я на одной мельнице нашел сорок тысяч денег у мельника». – «Где нашли?» – спросил я. – «В сундуке у него. Подумайте, какой жулик. Эксплуататор. Я у него деньги, конечно, реквизировал и купил себе мотоциклетку. Деньги *народные* ведь». – «Что же вы их не отдали тем, кого он эксплуатировал?» – сказал я. Он удивился – «Где же их найдешь. И кому отдашь. Это нельзя… запрещено… Это будет развращение народных масс. За это мы расстреливаем».

* * *

Учительницы сельской школы под Москвой, в Листвянах, взяли себе мебель и постели из дачи, принадлежавшей профессору Московского университета. Когда тот заспорил и получил мандат на возвращение мебели, то учительницы

визжали от злости. Кричали: «Мы ведь народные учительницы. На кой нам черт эти профессора. Они буржуи».

* * *

Я спросил одного умного комиссара: «А кто такой буржуй, по-вашему?» Он ответил: «Кто чисто одет».

* * *

После митинга в Большом театре, где была масса артистов и всякого народа, причастных к театру, уборная при ложах так называемых министерских и ложи директора, в которых стены были покрыты красным штофом, по окончании митинга были все загажены пятнами испражнений, замазаны пальцами.

* * *

Один мой родственник, кончивший университет, юридический факультет, горел деятельностью. Он целый день распоряжался, сердился, кричал, был важен и строг. Он знал все, говорил без устали. «Я начальник домового комитета», – кричал он. И тут же он себе завел артистку, называя ее Лидия Павловна. Относился к ней почтительно, часто говоря: «Лидия Павловна этого желают». Потом украл у меня деньги и кстати чемодан с платьем. Управляя домовым комитетом, неустанно распоряжался, так что живущий там доктор Певзнер от него слег в постель и прочие жильцы плакали и, наконец, выгнали его с большим трудом. Теперь он коммунист.

* * *

– Что бы тебе хотелось всего больше получить на свете? – спросил я крестьянина Курочкина, бывшего солдата.

– Золотые часы, – ответил он.

* * *

Крестьянка Дарья убирала граблями сено, а я писал этюд красками с натуры, около. Она подошла ко мне и смотрела. Я говорю ей:

– Дарья, слыхала ль, Москва-то вся вчера сгорела.

– Да, ну что.

– Тебе, Дарья, – говорю я, – жалко Москвы-то?

– Чего, – отвечает она. – У меня родных там ведь нету.

* * *

– В Дубровицах-то барыню, старуху восьмидесяти лет, зарезали. За махонькие серебряные часики. Генеральша она была.

– Что ж, поймали преступника? – спросил я.

– Нет, чего, ведь она енеральша была. За ее ответа-то ведь нет.

* * *

Один коммунист, Иван из совхоза, увидел у меня маленькую коробочку жестяную из-под кнопок. Она была покрыта желтым лаком, блестела. Он взял ее в руки и сказал:

– А все вы и посейчас лучше нашего живете.

– А почему? – спросил я. – Ты видишь, Иван, я тоже овес ем толченый, как лошадь. Ни соли, ни сахару нет. Чем же лучше?

– Да вот, вишь, у вас коробочка-то какая.

– Хочешь, возьми, я тебе подарю.

Он, ничего не говоря, схватил коробочку и понес показывать жене.

* * *

Нюша-коммунистка жила в доме, где жил и я. Она позировала мне. У ней был «рабенок», как она говорила. От начальника родила и была очень бедна и жалка, не имела бо-

тинок, тряпками завязывала ноги, ходя по весеннему снегу. Говорила мне так:

– Вот нам говорили в совдепе: поделят богачей – все нам раздадут, разделят равно. А теперь говорят в совдепе-то нам: слышь, у нас-то было мало богатых-то. А вот когда аглицких да мериканских милардеров разделют, то нам всем хватит тогда. Только старайтесь, говорят.

* * *

Деревня Тюбилки взяла ночью все сено у деревни Горки. В Тюбилке 120 мужиков, а в Горках 31. Я говорю:

– Дарья (которая из Тюбилок, и муж ее солидный, бывший солдат). Что же это, – говорю, – вы делаете? Ведь теперь без сена-то к осени весь скот падет не емши в Горках-то.

– Вестимо, падет, – отвечает она.

– Да как же вы это? Неужто и муж твой брал?

– А чего ж, все берут.

– Так как же, ведь вы же соседи, такие же крестьяне. Ведь и дети там помрут. Как же жить так?

– Чего ж… вестимо, все помрут.

Я растерялся, не знал, что и сказать.

– Ведь это же нехорошо, пойми, Дарья.

– Чего хорошего. Что уж тут… – отвечает она.

– Так зачем же вы так.

– Ну, на вот, поди… Все так.

* * *

Когда была Бабушка революции, то я спросил одного учителя, не знает ли он, отчего это бабушка русской революции есть, а дедушки нет. Он очень задумался и сказал:

– А правда, отчего это дедушки нет?

* * *

На рынке в углу Сухаревой площади лежала огромная куча книг, и их продавал какой-то солдат. Стоял парень и смотрел на кучу книг.

– Купи вот Пушкина.

– А чего это?

– Сочинитель первый сорт.

– А чего, а косить он умел?

– Не-ет… чего косить… Сочинитель.

– Так на кой он мне ляд.

– А вот тебе Толстой. Этот, брат, пахал, косил… чего хочешь.

Парень купил три книги и, отойдя, вырвал лист для раскурки.

* * *

Тенор Собинов, который окончил университет, юридический факультет, всегда протестовавший против директора Императорских театров Теляковского, сам сделался директором Большого оперного театра. Сейчас же заказал мне писать с него портрет в серьезной позе. Портрет взял себе, не заплатив мне ничего. Ясно, что я подчиненный и должен работать для директора. Просто и правильно.

* * *

Шаляпин сочинил гимн революции и пел его в театре при огромном числе матросов и прочей публики из народа.

К знаменам, граждане, к знаменам,
Свобода счастье нам несет.

Когда приехал домой, то без него из его подвала реквизировали все его вино и продали в какой-то соседний трактир. Он обиделся.

* * *

На митинге в Большом театре в Москве бас Трезвинский говорил речь:

– Посмотрите, тут балет. Вот он, балет, – показывал он на партер.

Действительно, в партере сидели артистки балета.

– Балет, балет… А сколько получает кордебалет? А? 50 рублей в месяц, и это деньги. Да. И им, чтобы жить, нужно торговать собой, своим несчастным телом…

Раздался оглушительный аплодисмент.

* * *

– Теперь никакой собственности нет, – говорил мне умный один комиссар в провинции. – Все всеобчее.

– Это верно, – говорю я. – Но вот штаны у вас, товарищ, верно, что ваши.

– Не, не, – ответил он. – Эти-то вот, с пузырями, – показал он на свои штаны, – я от убитого полковника снял.

* * *

В Тверской губернии, где я жил в Островне, пришла баба и горько жаловалась на судьбу. Помер у нее сын, выла она, теперь один остался.

– Еще другой сын, тоже кормилец хороший. Не при мне живет, только приезжает.

– Что же, тетенька, он работает что? – спросил я.

– Да вот по машинам-то ездит, обирает, значит. Надысь какую шинель привез, воротник-то бобровый, с полковника снял. Этот-то хоша жив, кормилец.

* * *

В Школу живописи в Москве вошли новые профессора: Машков, Кончаловский, Кузнецов, Куприн – и постановили: отменить прежнее название. Так. Преподавателей называть

мастерами, а учеников подмастерьями, чтобы больше было похоже на завод или фабрику. Самые новые преподаватели оделись, как мастера, т. е. надели черные картузы, жилеты, застегнутые пуговицами до горла, как у разносчиков, штаны убрали в высокие сапоги, все новое. Действительно, были похожи на каких-то заводских мастеров. Поддевки. Я увидел, как Машков доставал носовой платок. Я сказал ему.

– Это не годится. Нужно сморкаться в руку наотмашь, а платки – это уж надо оставить.

Он свирепо посмотрел на меня.

* * *

Один староста – ученик, крестьянин, говорил на собрании:

– Вот мастер придет в мастерскую (класс) и говорит, что хочет, и уйдет, а жалованье получает. А что из этого? Положите мне жалованье, я тоже буду говорить, еще больше его.

Ученики ему аплодировали, мастера молчали.

* * *

Ученики в мастерской сказали мне, что надо учиться у народа, но только где его достать.

– Как где? Вот у вас тут швейцары, солдаты бывшие, что у вешалки служат, мастерскую убирают, ведь это тоже народ.

Раздался аплодисмент.

– Ну, знаете, – сказал я, – что же вы аплодируете, я ведь сказал ерунду.

Они сконфузились.

* * *

Староста мастерской ничего не работал, только распоряжался. Я заметил ему, что все же надо работать, иначе что же будет, раз вы не будете учиться и практиковаться в работе. Он ответил мне:

– Мы, старосты, работаем не для себя, а для других.

* * *

Один взволнованный человек говорил мне, что надо все уничтожить и все сжечь. А потом все построить заново.

– Как, – спросил я, – и дома все сжечь?

– Конечно, и дома, – ответил он.

– А где же вы будете жить, пока построят новые?

– В земле, – ответил он без запинки.

* * *

Один коммунист по имени Сима говорил женщине, у которой было трое детей, своей тетке:

– Надо уничтожить эксплуатацию детьми матерей. Безобразие: непременно корми его грудью. А надо выдумать такие машины, чтобы кормить. Матери некогда – а она корми – возмутительно.

* * *

Коммунисты в доме поезда Троцкого получали много пищевых продуктов: ветчину, рыбу, икру, сахар, конфекты, шеколад и пр. Зернистую икру они ели деревянными ложками по три фунта и больше каждый. Говорили при этом:

– Эти сволочи, буржуи, любят икру.

* * *

К доктору Краковскому на прием пришел солдат, говорил, что болит голова. Доктор положил его на кушетку и стал выслушивать и пощупал живот.

– Глухой черт, – закричал солдат, – тебе говорю, голова болит, а чего ты в брюхо лезешь?

* * *

Больше всего любили делать обыски. Хорошее дело, и украсть можно кое-что при обыске. Вид был у всех важный,

деловой, серьезный. Но если находили съестное, то тотчас же ели и уже добрее говорили:

– Нельзя же, товарищ, сверх нормы продукт держать. Понимать надо. Жрать любите боле других.

* * *

Когда не было дров, а были холода, то ломали в квартирах пол, паркет, топили им печи, а потом с трудом ходили по одной доске в квартирах. Женщины очень сердились на это.

* * *

Рыболов Василий Захаров, переплетчик, приятель мой, пришел ко мне. Смотрю, у него под глазом синяк.

– Что же это, Василий, с тобой, где это ты?

– Да чего, – говорит, – то же самое, что и было. Подошел я к милиционеру, говорю ему: «Товарищ хожалый, где бы тут пивца раздобыть, бутылочку?» А он как даст мне раз по морде, два. «Вот тебе, – говорит, – хожалый, а вот и пивцо».

* * *

Один молодой адвокат совершенно лишился голоса, ничего не может сказать, хрип один, и потому он стал писать на бумаге и написал, что на митинге адвокатов лишился голоса. Один из моих приятелей ответил ему, что это ему свыше, так как он, вероятно, все сказал, и больше, значит, не надо.

* * *

На кухню моего дома в деревне вошли вооруженные солдаты и спросили у служанки Афросиньи спички и папиросы. Собака моя, колли, Марсик, спряталась под стол и стала лаять.

– Ты что, подлая, лаешь? – и хотели ее стрелять.

Афросинья заступилась за собаку, кричала:

– Почто ее стрелять, собака хорошая.

– А чего она лает, – сказали солдаты.

* * *

Один солдат из малороссов на митинге говорил:

– Когда мы на войне с ими братались, мы им говорим: мы, горим, свово Николая убрали, когда вы свово Вильхельма уберете? А они нам говорят: как ты его, горят, уберешь. Он нам всем холовы поотвертает.

* * *

В доме, где я жил, был комендант Ильин, бывший заварщик пирогов на фабрике Эйнем. Он говорил:

– Трудная служба (его, коменданта), куда ни гляди – воры. У меня два самовара украли и шубу. У меня, у коменданта. Чего тут.

Он забил досками все парадные входы дома: ходить можно было только через задние двери, выходящие на двор, где он поставил у ворот часовых с ружьями. Тут же, в тот же день у него украли опять шубу у жены его и дочери.

– У меня ум раскорячился, – говорил комендант Ильин. – Ничего не пойму, как есть.

* * *

– Вы буржуазейного класса? – спросил меня комендант Ильин.

– Буржуазейного, – отвечаю я.

– Значит, элемент.

– Элемент, значит, – отвечаю я.

– Не трудовой, значит.

– Не трудовой, – отвечаю.

– Значит, вам жить тут нельзя в фатере, значит. Вы ведь не рабочий.

– Нет, – говорю я ему, – я рабочий. Портреты пишу, списываю, какой, что и как.

Комендант Ильин прищурился, и лицо превратилось в улыбку.

– А меня можешь списать?

– Могу, – говорю.

– Спиши, товарищ Коровин, меня для семейства мово.

– Хорошо, – говорю, – товарищ Ильин, только так, как есть, и выйдешь – выпивши. (А он всегда с утра был пьян.)

– А нельзя ли тверезым?

– Невозможно, – говорю, – не выйдет.

– Ну ладно. Погоди, я приду тверезый, тогда спиши.

– Хорошо, – говорю, – Ильин. Спишу, приходи.

Больше он не просил себя списать.

* * *

Разные девчонки и подростки держались моды носить белые высокие чулки. Подруги ходили парами. Все парами: подруги, значит. В этом была какая-то особенность. Они были очень серьезные и сразу расхохатывались. Они ходили под руку одна с другой, и все куда-то торопились. Но если кавалер заговаривал, они останавливались.

– Я вчера вас, барышня, видел на Тверской, вы с кавалером шли, – говорил молодец.

– Извиняюсь, ничего подобного, – отвечала девица.

Видно было, что свобода в кавычках ах как понравилась девицам. Одна горничная, Катя, очень милая и довольно развитая и добрая, забеременела. Оказался любовник женатый, вроде комиссара: отбирал хлеб, который в деревне ее был, где она была временно на побывке.

– Катя, – говорили ей ее родные, – у тебя были хорошие женихи. Что ж ты замуж-то не вышла? А вот этот-то, женатый, тебя бросил беременной.

– Нешто я знала, что он женатый. Он не говорил. Мне понравилось, что все же он какой ни на есть начальник.

* * *

Были дома с балконами. Ужасно не нравилось проходящим, если кто-нибудь выходил на балкон. Поглядывали, останавливались и ругались. Не нравилось. Но мне один знакомый сказал:

– Да, балконы не нравятся. Это ничего – выйти, еще не так сердятся. А вот что совершенно невозможно: выйти на балкон, взять стакан чаю, сесть и начать пить. Этого никто выдержать не может. Летят камни, убьют.

* * *

Алешка Орчека со станции Титлы, где недалеко от станции была моя мастерская, пришел ко мне и рассказывал:

– Когда я на Лубянке служил, послали нас бандитов ловить на Москву-реку. Они там у реки держались. Мы идем и видим: кто-то трое в водосток лезет, большая труба-то к реке. Мы туда. Да. Они в трубу залезли. Мы их оттуда за ноги. Ну, что смеху-то было.

– Ну, они, что ж, – спросил я, – ругаются?

– Чего тут. Смеху что… – и он смеялся. – Чего ж ругаться. Они мертвые ведь. Мы их в трубе наганами всех кончили.

* * *

Во время так называемой революции собаки бегали по улицам одиноко. Они не подходили к людям, как бы совершенно отчуждавшись от них. Они имели вид потерянных и грустных существ. Они даже не оглядывались на свист: не верили больше людям. А также улетели из Москвы все голуби.

* * *

На одном молодом адвокате из армян, на его шинели, вроде солдатской, были пришиты крючки металлические из толстой проволоки. Он, когда пришел ко мне, то на одном

висел мешочек с мукой, на другом – картошка, на третьем – мясо лошадиное, ребра, кишки, какая-то требуха. И, взяв у меня картину для обмена на продукт, он ее тоже повесил на крючок и, уходя, прощался. Я спросил его:

– А чудно вы это придумали, крючки-то.

– А что? – спросил он. – Удобно, всем нравится.

* * *

У меня было кольцо – фальшивый бриллиант Тэта. Мой слуга, Алексей Кобарев, думал, что оно настоящее, и очень о нем беспокоился. Я понял, что он верит, что оно настоящее, и говорил ему, что оно стоит невероятно дорого. Он давал совет мне кольцо спрятать куда-нибудь подальше.

– А то, – говорит, – чего бы не было. Не убили бы.

Я говорю:

– Верно, надо убрать.

Когда поехал в деревню, я взял кольцо с собой. Думаю, променяю, может быть, дадут фунта два муки.

В вагоне я надел кольцо на палец. В вагоне ехало начальство, много солдат и еще пассажиров битком. Все обратили внимание на кольцо: прямо останавливались и замирали. Алексей Кобарев был в отчаянии и даже отошел от меня подальше. Ко мне подошел какой-то человек в черной кожаной куртке, при нагане. Посмотрел на кольцо, потом на меня, столкнул соседа, который сидел напротив, сел сам. Посмотрев пристально, сказал мне:

– Скажите, товарищ, рублей пять дали за кольцо?

– Нет, товарищ, – ответил я. – Я за него заплатил три рубля.

– Снимите, товарищ, – сказал он мне на ухо. – А то народ волнуется, думает, настоящее. А я-то ведь вижу.

* * *

Ехал в вагоне сапожник и говорил соседям:

– Теперь сапожки-то, что́ стоят. Принеси мне триста тысяч, да в ногах у меня поваляйся – сошью, а то и нет. Во как нынче.

* * *

Художник Машков на собрании свободных мастерских горел во время русской смуты невероятной энергией. Он кричал:

– Я рабочий. Я сам себе нужник чистил!

И при этом засучивал рукава.

– Я все могу! Я рабочий! Я и вагон могу раскрасить, и вывеску.

– А вот трамвай можете пустить, товарищ Машков? – спросил его один ученик. Машков молчал.

* * *

Один ученик мой пришел ко мне. Я в это время ел что-то за столом. Я пригласил его. Он, кушая, спросил меня:

– Что это за портреты у вас на стене висят?

Я говорю:

– Это неважные портреты. Моего деда один, а другой моей бабушки.

– А вот у вас нет портрета нашего наркомпроса, товарища Луначарского.

– Нет, – говорю я, – нет…

– А портрета Владимира Ильича, я вижу, тоже нету, – говорит он.

– Нет, – говорю я, – нету.

– А жаль, – сказал он, вздохнув. – Какие личности… Не мешало бы вам завести.

Выходя из-за стола, я говорю ученику:

– Товарищ ученик, вот мы поели, споемте теперь «Интернационал». Начинайте, товарищ.

Он молчал.

– Что же, – говорю, – вы не знаете.

Он робко ответил:

– Знаю немного, да не твердо.

– Ну, к субботе чтоб знали. Помните это. Прощайте.

* * *

Товарищ комендант дома Ильин, мрачный, пришел ко мне.

– Что, – говорит, – товарищ Коровин, жить нельзя боле. Хочу уходить.

– Что же такое? – говорю я.

– Ну что… воры, жулики все.

– Да что ж это такое?

– Тебя еще не обокрали?

– Не совсем, – говорю я. – Украли шубу и пальто.

– Это хорошо, – говорит комендант. – Высоко живешь. А я не знаю, как и быть. Деньги ведь у меня разные, казенные тоже… не держу дома: нельзя… Своруют.

– Кто же?

– Все, все… И жена, и дочь, и отец, и все, кто зайдет, – никому веры нет.

– Да что ты, Ильин… Это безобразие.

– Чего тут. Держу деньги, товарищ Коровин, веришь ли, в дровах, в стружках, в помойке или где под камнем, на улице… и то хоронюсь, ночью прячу, чтоб не увидал кто.

– Но отчего же ты, Ильин, при себе не держишь, за пазухой или в сапогах?

– Что ты, нешто можно? Эк сказал. А узнают – непременно убьют. Все жулики. И чего их стреляют – мертво прямо. А их боле и боле еще. Да и то сказать – нельзя же весь народ перестрелять.

– Что же это, – говорю я, – как же тут быть?

– Я думаю так, – говорит Ильин. – Лучше бы все, что ни на есть, деньги, разделили бы поровну – ну и шабаш. Как хочешь потом. Хочешь, пей, хочешь, что хочешь, – и шабаш.

– Ну, а потом-то что ж, товарищ Ильин? – Ну, кто пропьет – значит, опять воровать начнет.

– Да, верно. Что тут делать?

И он, качая головой, с грустью ушел от меня.

* * *

Никто ни за что не хотел думать и брать всерьез, что я художник и что пишу картины. А что это так, а делаю я это просто для дурачества. В мастерскую мою в деревне приходили разные люди со станции, она была в трех верстах от меня. И вот приходили и считали меня за что-то другое, не за художника, а за какую-то власть. Приходили с просьбой помочь в деле о незаконном взятии сарая или что у одного выкопали из сада все яблони. И мне это было неприятно и очень надоедало. Я посоветовал им обращаться к гостившему у меня служащему в конторе Государственных театров, Борису Заходеру, неглупый молодой парень. Он сейчас же принимался за дело и всерьез разговаривал.

– Зачем сарай сносить. Сарай народное здание. Нешто можно трогать сарай?

Ему говорили:

– Да ён на чужой, на нашей земле стоит.

– Какой вашей земле? Такой нет больше. Земля всеобщая. Нет чужой земли, она всем принадлежит, всему народу, и тебе, и мне, всем нам. Потому земля народная, теперь нет «твоя, моя», а вся наша.

Мужики смотрели, выпучив глаза.

– Ловко судит, – говорили мне потом. – Ничего ему не ответишь. Ну, голова парень. Во, во… А мальчишка, глядеть-то…

* * *

«Повез я картошку, три мешка, в Ярославь продавать. А меня со станции-то в город и не пущают. Отряд, значит, стоит. Говорят мне: „Торговать нельзя боле“. Что тут. А мне какой-то человек и говорит: „Скажи, – говорит, – им про себя, что я, мол, помещиков грабил и жег. Пустят тогды тебя“. Я и подошел к отряду опять и говорю: я так-то и так-то, помещиков грабил, жег. Они глядят на меня, а старшой-то и говорит: „Ладно, – говорит, – о́день, значит, куда девал ты?“ А я не знаю, что сказать. „Ну, – говорит, – где у тебя картофель-то?“ А я, на мешки показывая, говорю: „Во“. А он приказывает, говорит: „Бери“. Те картофель тащут у меня. И говорит: „А его надо рестовать. Потому народные деньги, – говорит, – он утаил. Его, – говорит, – к расстрелу надо поставить“. Я бегом. Во бежал. И спрятался в яме. Беда».

* * *

– А чего ему не жить: дом железом крыт и крашен, одежи много.

– Но ведь он и грамотный, – говорю я.

– Что грамотный… Грамотой-то сыт не будешь. Его за дом-то сажали. Ишь, говорят, дом-то железом крыт. Ну и посадили. В тюрьме-то парашки носил. Выпустили. Все на дом-то глаза пялют: крашеный потому и железом крыт. Все к ему и идут: давай деньги. Не верят, что у него денег-то нет. Ну, двое со станции надысь ему рыло набили больно. Значит, что деньги не дает. Не верят. Дом-то крашен, железом крыт. А у Сергея-то рыбака дом без двора, лачуга, солома. И стекла-то нет в окне – прямо дыра, тряпкой заткнута. К нему никто и не идет. А деньги-то у его есть. Теперь все рвань одна. Нельзя чистую рубаху одеть. Наденешь – все глядят: богатей. Опасно. Ей-ей, опасно. Придут свечи («свечи» назывались отряды

красноармейцев с винтовками). Ну и давай яйца, хлеб, масло, кто что. А к Сергею не идут. Чище дом выбирают. Вот надысь к Шаляпину в дачу приходили из Переяславля, пятеро с наганами. Казовые такие. Видно, что начальники.

– Где, – говорят, – у его тут брильянты лежат?

Ну, глядели. Стол у его в комнате заперт, значит. Ну его вертеть. А в столе-то, в ящике, что-то стукает, что-то лежит. Они говорят:

– Брильянты тут, значит.

Ковыряли гвоздем. Открыли. А там пузырек с лекарствием – боле ничего.

* * *

Один, встретивший моего приятеля, сказал ему, подняв палец кверху:

– «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный», – так сказал Пушкин. Мы, наша партия, все сделали, чтоб его не было. Ну что же делать – стихия оказалась выше нас. Кадетская партия не могла предвидеть этого.

– Про что же говорил вам Пушкин? Про то именно, что вы не предвидели, – ответил ему мой знакомый.

* * *

– Вот какая шутка со мной случилась, – говорит один знакомый. – Сейчас что ни прочту – все в голову другое лезет, тут же.

– Т. е. как же это?

– Да так. Вот читаю стихи:

В этот час все движенья ее,
Как невольник, безмолвно следил я.
Развязаться был пояс готов
И не скоро камеей замыкался.

– Камей… Был камей у меня. Камей в голову лезет. Вот заложить бы, думаю, продать, обменять бы. Сколько соли дадут или муки. Соображаю, возьмут ли еще. Читаю Некрасова:

Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь, дорогой,
И застонут…

– «До рубля», – думаю. Серебряный рубль, может. Если серебряный, ведь это можно два фунта соли купить. «Побираясь, дорогой…» Иди, побирайся, сейчас-то – никто ничего не даст.

* * *

Князь Сумбатов, он же артист Малого театра Южин, во время Временного правительства, которое только объявилось, по приезде из Петербурга, прислал утром ко мне какого-то человека с неотложным делом, чтобы я немедленно к нему явился. «Очень нужно», – говорил приехавший ко мне человек.

Когда я приехал к нему, то он умывался с дороги, и так <как> дело было не требующее промедлений, то князь принял меня, умываясь, у себя. В чрезвычайно серьезном тоне и виде, серьезно мигая, сказал, что вызвал меня, чтоб поручить мне, чтоб я распорядился, все эмблемы, орлы, короны, инициалы, которые находятся в виде украшений в залах и фойе и на занавесях Императорских театров, немедленно убрать, отбить, словом, уничтожить, и как можно скорей, как невероятно раздражающие и его, и общество.

Странно было видеть этого толстого человека, умывающегося впопыхах и притом артиста Южина, который так любил ордена и надевал их с утра, на парадных праздниках, каждый раз при приезде директора, приезжая к нему на доклады.

Надевал эти ордена и какой-то большой белый крест болгарского Фердинанда[61].

– Это все требуют, – говорил он. – Уберите немедленно. Я вас за этим вызывал. Прикажите. Прошу вас убедительно.

– Да, князь, конечно, – согласился я. – Теперь уж республика, не терпит Императорские театры, Императорские университеты, Академии художеств, Технические училища; клиника, артисты, солисты Их Величеств… Странно. А вот скажите, князь, кажется, не было императорского сумасшедшего дома?

Сумбатов удивленно посмотрел на меня.

* * *

Императорский Малый театр торжественно чествовал дни свободы. На сцене Малого театра был устроен фестиваль. На большом пьедестале, одетая боярышней в кокошнике, артистка Яблочкина. Руки ее были подняты к небу, на руках оборванные цепи, под мышкой одной руки привязан сноп ржи и серп, у ног лежал солдат. Это – освобожденная Россия. А кругом, внизу у пьедестала, артисты и артистки. Артисты во фраках, а артистки декольте, шляпы – перья паради. Оркестр играл «Марсельезу».

У нас, так сказать, как во Франции. Артисты с серьезными лицами пели:

Вы, граждане, на бой,
Вы, граждане, вперед,
Впи-пи-пи-пи-впиред,
Вы, граждане, на бой.

Ловко выходило, совсем «Марсельеза».

---

[61] Фердинанд I (1861–1948) – болгарский царь (1908–1918).

Я посмотрел на толстого князя Сумбатова, на пухлого Головина, на Рыбакова… Какие все толстые. Какие толстяки, а вот на бой идут.

* * *

Когда в 1919 году совершенно нечего было есть, а есть все же привыкли, то находились дома, люди, какие-то остатки средств, в которых все <еще> сохранилось московское гостеприимство. Среди гостей у этих людей были всегда артисты. Они играли роль утешителей. Приходили и важно шепотом передавали радостные новости:

– Кончается, – говорили, – да, да, кончается. Вчера на Ходынке солдаты все лапти сожгли, да.

Все смотрят с вниманием, что такое.

– Ну и что же?

– Как что, – говорит удивленный артист. – Ясно, что конец.

Его сажали, угощали каким-то пирогом с творогом, с солониной. Артист сидел, ел и говорил совершенно как фельдмаршал, с важностью:

– В понедельник фабрику Абрамовичу вернули. Рабочие пришли с хлеб-солью к хозяину: «Бери, – говорят, – себе назад. Нам без тебя никак не управиться». Ресторан «Эрмитаж» на днях открывается.

– Да что вы, неужели? Кушайте, голубчик, кушайте.

И голубчик кушал…

– Да, – говорит он, – я вчера сказал в банке, как его, Ше… ше… Шешкевичу. Говорю ему: «Ну что вы, товарищ, отдайте вы из сейфа-то Ивану Ивановичу Корзихину-то. Хороший он парень. Ну что вам». – «Ну, – говорит, – для вас только. Пускай завтра приходит».

– Да что вы. Господи. Кушайте, голубчик.

И голубчик кушал.

* * *

На каком-то собрании артистов говорили:

«Главное – справедливость. Это верно. В театрах из артистов есть любимцы публики, и эти артисты другим ходу не дают. И эти любимцы получают больше других, и им платят. А разве можно и нужно угождать публике? Она ведь не все понимает. Другим работы нет – всё любимцы берут. Главные роли их, они берут их себе, а мы теперь сами директора выберем, чтоб равенство ввел и черед. Вот Шаляпин – все нарушает. А вот в равенстве-то узнает, кто он. А если он товарищ, то не должен выскакивать, пой, как поют, не подлизываясь к публике. Надо же достоинство иметь и подлизой не быть. Да и партию своего товарищества и театра, так сказать, учреждения, не подрывать. Революционную совесть иметь надо. Эти прежние штучки империалистические надо бросить раз навсегда. Товарищ в год две тысячи получает, а он норовит в вечер один забрать их. Теперь после постановления товарищеского – это не выйдет, не пройдет… Справедливость-то, пожалуй, не понравится. А сами поют о правде. Где правда-то тут? Правда-то не понравится. Но мы теперь сплотились, договорились и поставим дело как надо. На то и товарищество, и союз».

* * *

Равенство и справедливость. Был жетон: «Да укрепится свобода и справедливость на Руси». Я получил бланк. Бланк этот был напечатан после долгих и многих обсуждений Всерабиса «Заключение работников искусств, отдела изобразительных искусств». В графах бланка значилось:

Размер.
Какой материал.
Холст, краски, стоимость его.

Время потраченного труда.
Подпись автора.

Цена произведения определялась отделом Всерабиса.

В Школе живописи мастера и подмастерья. Все было хорошо, но с подмастерьем было трудно. Их работу надо было расценивать. Трудно было вводить справедливость. Трудно. Кто сюпрематист, кто кубист, экс-импрессионист, футурист – трудно распределить. Что́ все это стоит, по аршину или как ценить? Да еще на стене написано: «Кто не работает, тот не ест». А есть вообще нечего было. А справедливость надо вводить. У Всерабиса и мастеров ум раскорячивался, как они говорили. Заседания и денные, и ночные. Постановления одни вышибали другие. Трудно было, так, один предлагал то, а другой совсем другое. И притом жрать хочется до смерти. Вот как трудно вводить справедливость и равенство. Все ходили измученные, бледные, отрепанные, неумытые, голодные. Но все же горели энергией водворить так реформы, чтоб было как можно справедливее. И их души не догадывались, что главная потуга их энергии – это было не дать другим того, что они сами не имеют. Как успокоить бушующую в себе зависть? А так как она открылась во всех, как прорвавшийся водопад, то в этом сумасшедшем доме нельзя было разобрать с часу на час и с минуты на минуту, что будет и какое постановление справедливости вынесут судьи.

Странно было видеть людей, охваченных *страстью власти и низостью зависти* и уверенно думающих, что они водворяют благо и справедливость.

* * *

Я видел особенную радость друзей, когда у одного порядочного человека ушла жена, очень красивая женщина, к другому человеку, очень неважному и нечестному. Друзья и знакомые бегали один к другому и радостно, со смехом, пе-

редавали новость: ушла. К нему же, оставленному мужу, приходили грустные и успокаивали его, говоря:

– Он же дрянь, а она ненормальна.

А оставленный муж не проявлял страданий. Друзья и знакомые, передавая друг другу, что ему одному он сказал по секрету, что он застрелится. И каждый говорил, что это ему он поведал, по секрету, как лучшему другу.

Но оставленный муж вдруг вскоре завел себе миловидную блондинку. Более других всех обиделась жена.

– Вот видите, – говорила она друзьям, – каков он. Я так и знала. А вы говорили, он застрелится. Никогда не застрелится.

Все приятели почему-то тоже загрустили и вроде как-то обиделись. Бегали к бывшей жене и передавали ей новости. Говорили:

– Да вчера на скачках видели его с этой блондинкой. В ложе с ней сидел. Да.

Жена оставившая сердилась.

– В ложе, вы говорите, видели? Он всегда со мной ездил, брал эту ложу. Это ложа бенуар? – спрашивала жена.

– Да, бенуар, – говорили ей знакомые.

– Это в той же ложе. В той же, в которой был со мной. Вот он каков оказался, – говорила она с негодованием.

Друзья сочувствовали ей.

– И кто это выдумал, – говорила она, – что он способен страдать? Никогда. Он не понимает и не ценит женщину.

Бывшая жена была недовольна и капризно сердилась и на друзей. А друзья заскучали.

* * *

«Мир хижинам, война дворцам» было крупно написано на бывшей гостинице «Метрополь» в Москве.

– Значит, воевать с дворцами. Так, – говорил человек, одетый в поддевку, другому, одетому в тулуп. – Мир, а воевать-то надо нам. Значит, из хижин. Какой же, значит, мир?..

Тулуп слушал и сказал:

– Ежели теперь кто какой дом построит, то в ем и живи сам. Боле ничего. Так велят, значит, теперь. Я говорю им: значит, ежели печник я, значит, в печке мне и жисть вести? А мне говорят: дурак ты, боле ничего. Вот и поди, разбери тут.

* * *

– Ежели кто безлошадный, лошадей у лошадных отбирать. А те без лошадей – ай, помирай. Значит, они опять у лошадных лошадей забирать, значит, зачнут. Тогда что.

– А тогда ты, – говорит другой, – а тогда ты ему его лошадь, что отобрал у него, продай ему. У тебя деньги, а у него она опять. А то у тебя ничего, а тут деньги в кармане у тебя, вот что.

– Вот правильно, ей-ей. Ну и ловко надумали. Верно. А скажи, товарищ, сколько разов-то у него, лошадного-то, лошадь-то угонять себе можно? Скажи, как это-то постановлено?

* * *

– Значит, у купцов все товары взяли, и торговать, значит, нельзя боле. Не наживай, значит, боле. И из лавки его вон. И из фатеры вон, и иди куда хочешь. А товар, значит, его весь раздадут. В череде, значит, всем равно.

– Вот ловко, – говорит слушающий. – А дале как?

– А, значит, дале опять: работать будут товар, только купцам давать нипочем не будут, а сами мастера торговать зачнут. Вот что.

– А как же ему торговать, ежели он при работе?

– Как торговать? Прикащики торговать будут, а деньги тебе, кто работает.

– Вот ловко, вот хорошо придумано. Хорошо прикащиком быть. Вот бы место получить этакое-то. Сам не работаешь, а нажить можно.

Константин Алексеевич Коровин

Моя жизнь

12+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16